Морис Дрюон
Железный король
ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ
PREMIUM

Проклятые короли

Морис Дрюон

Железный король

«Азбука-Аттикус»

1955

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Дрюон М.

Железный король / М. Дрюон — «Азбука-Аттикус», 1955 — (Проклятые короли)

ISBN 978-5-389-19260-7

Мориса Дрюона читающая публика знает прежде всего по саге «Проклятые короли», открывшей мрачные тайны Средневековья. За каждым произведением цикла стояла кропотливая работа в Национальном архиве, изучение документов, написанных на архаичном французском или на латыни. Открыл эту серию исторических фресок роман «Железный король». Великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле, взойдя на костер 18 марта 1314 года, проклял своих палачей – папу Климента V, короля Филиппа Красивого, его советника Гийома де Ногаре и все их помство до тринадцатого колена. Первый удар судьбы – обвинение невесток короля в неверности – не замедлил последовать. Но еще никто не знает, какие беды сулит будущее Железному королю…

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-19260-7

© Дрюон М., 1955
© Азбука-Аттикус, 1955

Содержание

Пролог 7
Часть первая. Проклятие 8
Глава I 8
Глава II 19
Глава III 28
Глава IV 37
Глава V 41
Глава VI 47
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Морис Дрюон
Железный король

Maurice Druon
LE ROI DE FER Copyright © 1955 by Maurice Druon
© Н. М. Жаркова (наследник), перевод, 2021
© Л. Н. Ефимов, перевод примечаний, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство АЗБУКА®

* * *

Цикл исторических романов Морича Дрюона «Проклятые короли», открывший мрачные тайны средневековья, пользовался в СССР необыкновенным успехом: миллионные тиражи, десятки изданий, и все равно за этими книгами стояла очередь в библиотеке. Прошло время, изменилась страна, но романы этого цикла по сей день заслуженно любимы читателями.

«Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!» – бросает из пламени костра великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле в лицо Филиппу Красивому, королю Франции. Это огненное пророчество сбудется: с 1314 года более полувека на троне Франции короли будут сменять друг друга, но никто не задержится там надолго. Дворцовые интриги, внезапные смерти, династические революции и кровавые войны будут сопровождать это мрачное шествие проклятых королей. Невероятная эпоха, определившая будущее прекрасной Франции.

Мориса Дрюона недаром любят в России. Помните, во времена книжного дефицита, когда популярные книжки можно было приобретси за сданную макулатуру, лидером этого «натурального обмена» был именно Морис Дрюон. И это вовсе не смешно. Для простых читателей Дрюон был одновременно и захватывающим, и интеллектуальным чтением.
Павел Басинский

Если вам нравится «Игра рпестолов», вы влюбитесь в серию романов Дрюона «Проклятые короли».
Джордж Р. Р. Мартин, атвор «Игры престола»

Идеальное слияние исторической правды и романтического вымысла. Золотая классика жанра.
Les coups de cœur des libraries.
www.livredepoche.com

Действие дрюоновского цикла охватывает почти весь XIV век. Мы попадаем в средневековую Францию, путешествуем по Европе, видим роскошные коронации, чехарду рвущихся к власти правителей, казни, интриги, жестокость тех мрачных времен, «когда собор Парижской Богоматери был еще белым», а чума за короткое время выкашивала пол-Европы…

Изысканная историческая проза с долгим послевкусием, как выдержанное французское вино.
Людивин.
Librarie FNAC (Bordeaux)

* * *

История – роман, бывший в действительности.
Э. и Ж. де Гонкуры

Я хочу еще раз выразить горячую признательность Пьеру де Лакрителю, Жоржу Кесселю, Кристиану Гремийону, Мадлен Мариньяк, Жильберу Сиго, Жозе-Андре Лакуру за ценную помощь, которую они оказали мне во время работы над этим томом; хочу также поблагодарить работников Национальной библиотеки и Национальных архивов за необходимое содействие моим изысканиям.
М. Д.

Пролог

В начале XIV века Филипп IV, король, прославившийся своей редкостной красотой, был неограниченным повелителем Франции. Он смирил воинственный пыл властительных баронов, покорил восставших фламандцев, победил Англию в Аквитании, повел успешную борьбу даже с папством, закончившуюся так называемым Авиньонским пленением пап. Парламенты были в его распоряжении, а соборы – на его содержании.

У Филиппа было три совершеннолетних сына, так что он мог рассчитывать на продолжение рода. Свою дочь он выдал за короля Англии Эдуарда II. Среди своих вассалов он числил шесть иностранных королей, а союзы, заключенные им, связывали его со многими государствами, вплоть до России.

Он прибирал к рукам любые капиталы и состояния. Постепенно он обложил налогом церковную казну и земли, обобрал евреев, нанес удар по объединению ломбардских банкиров. Чтобы удовлетворять нужды казны, он прибегал к выпуску фальшивых денег. День ото дня золотые монеты становились все легче весом и стоили все дороже. Ужасающе тяжелым было бремя налогов; королевские соглядатаи буквально наводнили страну. Экономические кризисы вели к разорению и голоду, что, в свою очередь, вело к возмущениям, которые король топил в крови. Бунты кончались длинной вереницей виселиц. Всё и вся должны были покоряться, гнуть спину или разбивать себе лоб о твердыню королевской власти.

Этот невозмутимый и жестокий владыка вынашивал мысль о национальном величии Франции. При его правлении Франция была великой державой, а французы – несчастнейшими из людей.

Только одна сила осмелилась поднять голову – орден тамплиеров. Эта разветвленная организация, военная, религиозная и финансовая в одно и то же время, прославилась и разбогатела в период Крестовых походов.

Слишком независимое положение тамплиеров беспокоило Филиппа Красивого, а их неисчислимые богатства возбуждали его алчность. Он затеял против них судебный процесс. Второго такого судилища не знала история, ибо по ходу дела было привлечено около пятнадцати тысяч обвиняемых. Нет такой низости, к которой не прибегли бы судьи на этом процессе, длившемся целых семь лет.

Наше повествование начинается с последнего, седьмого года.

Часть первая. Проклятие

Глава I
Королева, не знающая любви

В камине на ложе из раскаленных углей пылала целая сосна. Сквозь зеленоватые стекла в свинцовых переплетах просачивался скупой мартовский свет.

На высоком дубовом кресле, спинку которого украшали три резных льва – символ английского могущества, – сидела королева Изабелла, супруга Эдуарда II; подперев подбородок ладонью, опустив ноги на пурпурную подушку, она рассеянно глядела в камин, не замечая веселой игры огня. Двадцатидвухлетняя королева славилась удивительной белизной и нежностью кожи; золотистые ее волосы были заплетены в две косы и уложены над висками наподобие ручек греческой амфоры.

Придворная дама, привезенная из Франции, читала вслух королеве поэму герцога Гийома Аквитанского[1]:

Не помяну любви добром,
Я не нашел ее ни в ком,
Мне некого воспеть стихом…

Певучий голос придворной дамы терялся под сводами залы, слишком просторной, чтобы женщина могла здесь чувствовать себя счастливой.

В изгнанье удаляюсь я,
Беда и горе ждут меня…

Королева, не знающая любви, вздохнула.

– Сколь прекрасны слова эти, – произнесла она, – можно подумать, что они писаны для меня. Увы! Прошли те времена, когда знатные сеньоры, вроде этого герцога Гийома, умели так же хорошо сражаться, как слагать стихи. Когда, вы сказали, он жил? Два века тому назад! А словно вчера только написано.

И она вполголоса повторила:

Не помяну любви добром,
Я не нашел ее ни в ком…

Она задумалась.

---

[1] *…поэму герцога Гийома Аквитанского…* – Первый по счету из французских поэтов, писавших на романском языке, герцог Гийом IX Аквитанский (22 октября 1071–1127) – одна из самых значительных и привлекательных фигур Средневековья. Большой вельможа, выдающийся как своими познаниями, так и любовными похождениями, он жил и мыслил совершенно исключительно для своего времени. Утонченная роскошь, которой он окружал себя в своих замках, породила знаменитые «суды Любви». Притязая на полную свободу от власти Церкви, он отказал папе Урбану II, нарочно явившемуся в его владения, чтобы привлечь к участию в Первом крестовом походе. Зато воспользовался отсутствием своего соседа, графа Тулузского, чтобы наложить руку на его земли. Однако рассказы о приключениях все же побудили его позднее направиться на Восток во главе войска в 30 000 человек, которое он довел до Иерусалима. Его «Стихи», из которых сохранилось лишь одиннадцать произведений, ввели в романскую и, более широко, во французскую литературу идеализированное представление о женщине и любви, которого до него не существовало; оно – исток великого течения в любовной лирике, оросившего и оплодотворившего всю нашу литературу. Этот государь-трубадур не избежал некоторого влияния испано-арабских поэтов.

– Прикажете продолжать, ваше величество? – осведомилась чтица, придерживая пальцем страницу с картинкой.

– Нет, милочка, не надо, – ответила королева. – Моя душа уже достаточно наплакалась сегодня…

Она поднялась и совсем другим тоном произнесла:

– Мой кузен Робер Артуа известил меня о своем прибытии. Позаботьтесь о том, чтобы, как только он приедет, его немедленно провели ко мне.

– Он едет из Франции? Как вы, должно быть, рады, ваше величество!

– Хотела бы радоваться, но только привезет ли он нам радостные вести?

Дверь распахнулась, и на пороге появилась вторая придворная дама – тоже француженка, – она запыхалась и придерживала мешавшую бежать юбку кончиками пальцев. В девичестве Жанна де Жуанвилль, она вышла замуж за сэра Роджера Мортимера.

– Ваше величество, ваше величество! – закричала она. – Он начал говорить.

– Неужели заговорил? – спросила королева. – И что же он сказал?

– Ударил по столу и сказал: «Хочу».

Гордая улыбка осветила прекрасное лицо Изабеллы.

– Приведите его ко мне, – приказала она.

Леди Мортимер все так же поспешно выпорхнула из залы; вскоре она появилась в дверях, неся на руках пухлого, розового, толстенького младенца в возрасте пятнадцати месяцев, и поставила его у ног королевы. На нем было платьице гранатового цвета, все расшитое золотом, слишком тяжелое для такого малыша.

– Значит, мессир мой сын, вы сказали «хочу»? – произнесла Изабелла, нагнувшись и потрепав мальчика по щечке. – Я рада, что вы произнесли первым именно это слово: истинно королевская речь.

Ребенок улыбнулся матери и потерся головенкой о ее руку.

– А почему он так сказал? – спросила королева.

– Потому что я не дала ему кусочек пирога, который мы ели, – ответила леди Мортимер.

По лицу Изабеллы пробежала улыбка.

– Раз он начал говорить, – сказала она, – я требую, чтобы с ним не сюсюкали, не лопотали бессмысленно, как обычно с дитятей. Не так-то важно, чтобы он умел говорить «папа» и «мама». Я предпочитаю, чтобы он поскорее выучил слова «король» и «королева».

В ее голосе звучала прирожденная спокойная властность.

– Вы сами знаете, милочка, – продолжала Изабелла, – в силу каких причин я выбрала именно вас воспитательницей моего сына. Вы внучатая племянница славного Жуанвилля, который совершал Крестовые походы вместе с моим прадедом королем Людовиком Святым. Вы лучше прочих сможете внушить этому дитяти, что он принадлежит Франции столько же, сколько и Англии.

Леди Мортимер склонилась в глубоком реверансе. В это мгновение первая французская придворная дама объявила о прибытии его светлости графа Робера Артуа. Королева выпрямилась в кресле, скрестила на груди свои белоснежные руки, желая придать себе особо царственный вид, но даже эта поза идола не могла скрыть ее сияющей молодости.

Паркетный пол залы затрясся, заходил под тяжестью двухсот шагающих фунтов.

Вошедший имел шесть футов росту, ляжки у него были обхватом не меньше дубового ствола, руки – как палицы. На голенищах сапог красной испанской кожи виднелась засохшая грязь; плащ, накинутый на плечи, был так широк, что мог бы вполне заменить одеяло. Даже с одним кинжалом у пояса он казался в полном воинском облачении. В его присутствии всё и вся вокруг сразу становилось слабым, непрочным, хрупким. Подбородок у него был круглый, нос короткий, тяжелая челюсть, могучая грудная клетка. И воздуха ему требовалось больше, чем

прочим людям. Этому гиганту шел двадцать восьмой год, но его неестественная массивность прибавляла ему лет, так что на вид ему казалось все тридцать пять.

Стащив перчатки, он подошел к королеве, с легкостью, неожиданной в таком колоссе, преклонил перед ней одно колено и тут же поднялся, не дожидаясь разрешения встать.

– Ну как, мессир мой кузен, – спросила Изабелла, – благополучно ли вы совершили плавание?

– Отвратительно, мадам, чудовищно, – ответил Робер Артуа. – Буря поднялась такая, что я чуть было не отдал Богу душу вместе с потрохами. Я уж думал, что настал мой последний час, и решил исповедоваться перед Господом Богом в своих грехах. По счастью, их оказалось так много, что я не успел перебрать и половины, как показалась земля. Остальные я приберег для обратного пути.

От громовых раскатов его смеха в окнах задрожали стекла.

– Да, черт возьми, – продолжал он, – видно, я создан для того, чтобы колесить по земле, а не для того, чтобы барахтаться в соленой водичке. И если бы не любовь к вам, кузина, если бы не необходимость сообщить вам важнейшие известия…

– Разрешите, кузен, я покончу раньше с моими делами, – прервала его Изабелла. И, повернувшись к гостю, она кивнула на мальчика. – Мой сын начал сегодня говорить.

Потом обратилась к леди Мортимер:

– Мне угодно, чтобы он заучил имена своей родни и чтобы он как можно раньше узнал, что дед его, Филипп Красивый, – король Франции. Читайте ему с сегодняшнего дня вслух «Отче наш» и «Богородицу», а также молитву Людовику Святому. Слова эти должны запасть ему в сердце раньше, чем он поймет их разумом.

Изабелла была рада случаю показать французскому родственнику, потомку одного из братьев Людовика Святого, свои заботы о воспитании сына и направление этих забот.

– Какое прекрасное воспитание получит благодаря вам этот молодой человек! – воскликнул Робер Артуа.

– Учиться царствовать начинают с младенчества, – ответила Изабелла.

Не подозревая, что эти слова относятся к нему, мальчуган с удовольствием заковылял по зале, озабоченно переступая ножками и спотыкаясь, как дети простых смертных.

– Трудно представить себе, что мы тоже когда-то были такими! – заметил Робер Артуа.

– Особенно трудно представить это, глядя на вас, кузен, – подхватила с улыбкой королева.

На мгновение она задумалась, стараясь вообразить себе чувства той женщины, что выносила под сердцем эту человеческую глыбу, и собственное чувство к сыну, когда он станет взрослым мужчиной…

Протянув ручонки, словно намереваясь схватить пламя своими крохотными пальчиками, мальчик направился к камину. Робер Артуа преградил ему путь, выставив вперед свой красный сапог. Ничуть не испугавшись, наследный принц обхватил эту ножищу ручонками, которые так и не сошлись вокруг нее, и уселся верхом на гигантскую ступню. Робер раза три-четыре подкинул его вверх. Наследный принц хохотал, в восторге от этой забавы.

– Ах, мессир Эдуард, – сказал Робер Артуа, – осмелюсь ли я впоследствии, когда вы станете могущественным владыкой, напомнить вам, что некогда качал вас на своем сапоге?

– Как раз вы и сможете напомнить ему об этом, – ответила Изабелла, – если вы навсегда останетесь нашим искренним другом… А теперь покиньте нас, – обратилась она к окружающим.

Обе француженки вышли, уводя ребенка, которому суждено было в один прекрасный день стать королем Англии Эдуардом III, если будет на то воля Провидения.

Робер Артуа молча ждал, пока захлопнется дверь.

– Ну так вот, мадам, – сказал он, – дабы увенчать то прекрасное воспитание, которое вы даете своему сыну, сообщите ему, пожалуйста, на будущем уроке, что Маргарита Бургундская,

королева Наваррская, будущая королева Франции и тоже внучка Людовика Святого, скоро будет известна в народе под кличкой Маргарита Распутница.

– В самом деле? – спросила Изабелла. – Следовательно, наши подозрения оправдались?

– Да, кузина. И не только в отношении одной Маргариты. Но и в отношении двух других ваших невесток.

– Как? Жанны и Бланки?

– Насчет Бланки бесспорно. А вот Жанна…

Робер Артуа нерешительно повел своей огромной ручищей.

– Просто она более ловка, чем те две, – добавил он, – но я имею все основания полагать, что и она тоже отпетая развратница.

Он подошел ближе к трону, расставил для прочности ноги и бросил:

– Ваши три брата, мадам, рогаты – рогаты, как последние простаки!

Королева поднялась. Ее бледные щеки окрасил румянец.

– Если то, что вы говорите, правда, я этого не потерплю, – произнесла она. – Не потерплю подобного позора, не потерплю, чтобы моя семья стала всеобщим посмешищем.

– Французские бароны тоже не намерены этого терпеть, – ответил Артуа.

– Есть у вас доказательства? Назовите имена!

Робер Артуа с шумом выдохнул воздух.

– Когда вы прошлым летом вместе с вашим супругом посетили Францию, чтобы участвовать в празднествах, во время которых я имел честь наравне с вашими братьями быть посвященным в рыцари – ибо вы знаете, что на бесплатные почести у нас не скупятся, – заметил он ядовито, – так вот, в то время я поделился с вами своими подозрениями, а вы сообщили мне о ваших. Вы приказали мне быть начеку и обо всем извещать вас. Я ваш союзник; первый ваш приказ я исполнил и явился сюда, дабы исполнить второй.

– Итак, что же вы узнали? – нетерпеливо спросила Изабелла.

– Прежде всего то, что некие драгоценности исчезли из ларца вашей благородной, вашей добродетельной, вашей кроткой невестки Маргариты. А когда женщина тайком сбывает свои драгоценности, ясно, что она желает одарить любовника или купить себе сообщников. Это бесспорная истина, не так ли?

– Но ведь она может сослаться на то, что жертвует свои бриллианты Церкви.

– Ну, не всегда. А что, если брошь, например, была дана ломбардскому купцу в обмен на дамасский кинжал?..

– А вы узнали, на чьем поясе висит этот кинжал?

– Увы, нет, – вздохнул Артуа. – Искал, но сбился со следа. Развратницы слишком ловки, как я уже имел честь вам докладывать. Ни один олень в моем лесу в Конше не мог бы лучше запутать следы и сбить с толку охотника, чем эти дамы.

Изабелла сделала разочарованную гримаску. Робер Артуа предупредил слова, готовые сорваться с ее губ, предостерегающе подняв руку.

– Подождите, подождите, – воскликнул он. – Это еще не все. Честная, чистая, целомудренная Маргарита велела привести в порядок покои в старой Нельской башне, дабы, как она уверяет, творить там в одиночестве молитвы. Только почему-то молитвы творятся именно в те ночи, когда ваш брат Людовик находится в отлучке. А свет горит там за полночь. Ваша невестка Бланка, а иногда и ваша невестка Жанна тоже приходят туда помолиться. Хитрые бабенки! Если вы, скажем, спросите одну из них о ее времяпрепровождении, она вам ответит: «Как? Вы меня подозреваете? Но ведь я была с кузиной!» Одна согрешившая женщина – это слабенький редут. Но три спевшиеся бесстыдницы – это уже неприступная крепость. Только вот в чем дело: в те самые дни, когда Людовик отсутствует, в те самые вечера, когда в окнах Нельской башни горит свет, в этих обычно пустынных местах, на берегу у подножия башни, начинается движение. Люди видели, что оттуда выходили мужчины отнюдь не в монашеском

одеянии и не с пением псалмов на устах, ибо не в ту дверь они метят. Двор безмолвствует, но в народе пошли толки, ибо, пока хозяин еще молчит, слуга уже распускает язык.

В пылу разговора Робер взволнованно размахивал руками, шагал по зале, под ногой его стонали доски, и полы плаща со свистом рассекали воздух. Одним из самых неопровержимых доказательств Робер Артуа считал игру своих крепких мускулов. Он старался убедить противника не словами, а выставляя напоказ свою физическую мощь; словно смерч, налетал он на опешившего собеседника; а грубость речей, так хорошо вязавшаяся со всем его обликом, казалось, говорила о полном прямодушии. Однако тот, кто дал бы себе труд поближе приглядеться к Роберу Артуа, невольно усомнился бы: уж не комедия ли все это, не ловкость ли фокусника? Ненависть, все замечающая, упорная ненависть горела в серых глазах гиганта; и молодая королева тоже только усилием воли сохраняла прежнее хладнокровие.

– Вы говорили об этом моему отцу? – спросила она.

– Дорогая моя кузина, вы же лучше меня знаете короля Филиппа. Он так верит в женскую добродетель, что согласится меня выслушать не раньше, чем я покажу ему ваших невесток в объятиях любовников. А с тех пор как моя тяжба проиграна, я не в особенной чести при дворе…

– Знаю, кузен, что с вами обошлись несправедливо, и, будь моя воля, причиненный вам ущерб был бы возмещен.

Робер Артуа бросился к королеве, схватил ее руку и прильнул к ней долгим благодарным поцелуем.

– Но как раз в связи с вашей тяжбой, – вполголоса спросила королева, – не станут ли говорить, что вы действуете из соображений мести?

Гигант подскочил:

– Конечно, мадам, я действую из мести.

Нет, действительно, этот великан Робер мог обезоружить любого! Хочешь заманить его в ловушку, поставить в тупик, а он вдруг распахивает перед вами, как окно, всю свою душу.

– У меня отняли мое наследственное графство Артуа[2], – закричал он, – и отдали его моей тетушке Маго Бургундской… этой суке, прощелыге, чтоб она сдохла, чтоб ей проказа все лицо разъела, чтоб у нее все нутро сгнило! А чем она добилась успеха? Только хитростью, интригами, да еще тем, что сумела вовремя позолотить ручку советников вашего батюшки. Потому-то ей и удалось женить ваших братьев на двух своих распутных дочках и своей столь же распутной кузине.

---

[2] *…наследственное графство Артуа…* – Дело о наследстве Артуа, одна из самых больших наследственных драм в истории Франции – и о котором будет часто идти речь как в этом томе, так и в последующих, – представляется следующим образом. Людовик Святой дал в 1237 г. графство-пэрство Артуа в удел своему брату Роберу. Этот Робер I д'Артуа имел сына, Робера II, который женился на Амиси де Куртене, даме де Конш. У Робера II было два ребенка: Филипп, умерший в 1298 г. от ран, полученных в битве при Фюрне, и Маго, вышедшая замуж за пфальцграфа Бургундского. По смерти Робера II, убитого в 1302 г. (то есть четыре года спустя после своего сына Филиппа) в битве при Куртре, графство было потребовано в наследство одновременно Робером III, сыном Филиппа – нашим героем, и Маго, его теткой, которая ссылалась на одно из положений артуазского обычного права.Филипп Красивый в 1309 г. решил спор в пользу Маго. Та стала по смерти своего мужа регентшей графства Бургундского, выдала замуж обеих своих дочерей, Жанну и Бланку, за второго и третьего сыновей Филиппа Красивого, Филиппа и Карла. Благоприятное для нее решение короля в немалой степени было внушено именно этими браками, которые приносили короне графство Бургундское, или Вольное Графство (Франш-Конте), отданное в приданое Жанне. Маго, таким образом, стала графиней-пэром д'Артуа.Однако Робер не счел себя побежденным и в течение двадцати лет с редкой ожесточенностью, прибегая либо к юридическим, либо к прямым действиям, продолжал против своей тетки борьбу, где обе стороны не гнушались любыми средствами – доносами, клеветой, фальшивками, колдовством, отравлением, политическим приспособленчеством. И эта борьба, как увидим, закончится трагически и для Маго, и для Робера, и для Англии, и для Франции.С другой стороны, по поводу Бургундского дома или, точнее, домов, связанных в этом Артуазском деле со всеми крупными делами королевства, следует напомнить читателю, что в ту эпоху были две совершенно разных Бургундии: герцогство Бургундское, вассальная земля французской короны, и пфальцграфство Бургундское, входившее в состав Священной империи. Столицей герцогства был Дижон, столицей графства – Доль. Пресловутая Маргарита Бургундская принадлежала к герцогскому роду; ее кузины Жанна и Бланка – к графскому.

Увлекшись, он стал представлять королеве воображаемый диалог между своей теткой Маго, графиней Бургундии и Артуа, и королем Филиппом Красивым.

– «Дорогой мой сеньор, мой родич, мой кум, а что, если вы выдадите мою любимую крошку Жанну за вашего сына Людовика? Как, он не хочет? Считает, что она слишком худа?.. Ну что ж! Дайте ему в жены Маргариту… Филиппу – Жанну, а вашему чудесному Карлу мою душечку Бланку. Как же мы будем радоваться их любви! И потом, если мне уступят Артуа, которым владел мой покойный брат, графство Бургундское отойдет нашим птенчикам. Ах, мой племянник Робер? Да выкиньте наконец этому псу какую-нибудь кость! Пусть получает замок Конш в графстве Бомон, этой деревенщине за глаза хватит». И давай нашептывать разные подлости нашему Ногаре, сулить золотые горы Мариньи, и вот выдает замуж одну, выдает замуж вторую, выдает замуж третью. И когда дело сделано, наши крошки-шлюхи начинают сговариваться, слать друг другу письма, добывать себе любовников и из сил выбиваться, лишь бы украсить рогами корону Франции… Ах, будь поведение их, мадам, безупречным, я бы еще как-то сумел обуздать свою досаду. Но дочки графини Бургундской узнают, с кем имеют дело, не беспокойтесь, я вымещу на них все то зло, что причинила мне тетушка, тем паче что и ведут они себя недостойно и изрядно насолили мне.

Изабелла задумчиво внимала этой словесной буре.

Артуа приблизился к королеве и произнес вполголоса:

– Они вас ненавидят.

– Надо сказать, что и я, со своей стороны, с самого начала недолюбливала их без всякой на то причины, – ответила Изабелла.

– Вы не любите их потому, что они лгуньи, потому, что думают только о наслаждениях и забывают о своем долге. Но они-то, они ненавидят вас потому, что завидуют вам.

– Однако ж служба моя не слишком завидна, – вздохнула Изабелла, – их положение кажется мне куда приятнее, чем мое.

– Вы королева, мадам, – королева по духу и по крови. Пусть ваши невестки носят корону, королевами они никогда не будут. Вот поэтому-то они относятся и будут относиться к вам столь враждебно.

Изабелла вскинула на кузена свои прекрасные голубые глаза, и Артуа понял, что сумел коснуться чувствительной струнки. Отныне Изабелла целиком была на его стороне.

– Известны вам имена… ну… тех людей, с которыми мои невестки… – спросила она.

В отличие от своего родича Артуа Изабелла не любила прибегать к сильным выражениям, и иные слова просто не шли с ее губ.

– Не знаете? – допытывалась она. – Но без этого я не в состоянии что-либо предпринять. Узнайте, и клянусь вам, я немедленно под любым предлогом прибуду в Париж и положу конец всем этим безобразиям. Иначе как и чем я смогу помочь? Сообщили ли вы о ваших подозрениях моему дяде Валуа?

Изабелла снова говорила решительно, властно, твердо.

– Признаться, я воздержался от разговоров с его высочеством графом Валуа. Хотя он мой покровитель и лучший друг, но ведь он прямая противоположность вашему батюшке. Он разнесет повсюду то, что предпочтительно держать в тайне, он до срока спугнет дичь, и, когда распутницы попадутся в западню, они окажутся святее монашек…

– Что же в таком случае предлагаете вы?

– По-моему, надо избрать двойную тактику. Во-первых, приставить к мадам Маргарите новую придворную даму, которая будет блюсти наши интересы и давать нам нужные сведения. Для этой роли рекомендую мадам де Комменж, она недавно овдовела, и ей охотно пойдут навстречу. Вот тут-то нам и может пригодиться ваш дядя Валуа. Напишите ему письмо, в котором вы выразите свое желание устроить судьбу несчастной вдовы. Его высочество граф Валуа имеет огромное влияние на вашего брата Людовика, и может статься, что он, желая лишний

раз показать свою власть, незамедлительно введет мадам де Комменж в Нельский отель. Таким образом, в самом сердце крепости мы будем иметь своего лазутчика, а недаром у нас, людей военных, говорится: шпион в стенах крепости стоит целой армии у крепостных стен.

– Хорошо, я напишу письмо, и вы его отвезете, – сказала Изабелла.

– Во-вторых, надо усыпить подозрения ваших невесток на ваш счет, а для этого следует приласкать их, ну, скажем, отправить им какие-нибудь подарки подороже, – продолжал Артуа. – Притом такие, что одинаково подходили бы и мужчинам, и дамам; отправьте их тайком от всех, не предупреждая ни отца, ни братьев, под предлогом маленькой дружеской тайны. Маргарита уже опустошила свой ларец ради прекрасного незнакомца; если удача нам улыбнется, мы наверняка обнаружим нашу драгоценность на вышеупомянутом кавалере – неужели Маргарита не пожелает одарить его, тем более что происхождение подарка останется в тайне. Дадим же им великолепный повод совершить неосторожный поступок.

С минуту королева сидела в раздумье, потом приблизилась к двери и хлопнула в ладоши.

Вошла первая французская дама.

– Вот что, милочка, – обратилась к ней Изабелла, – соблаговолите принести поскорее золотой кошель для милостыни, тот, что предлагал мне утром купец Альбицци.

Пока придворная дама ходила за кошелем, Робер Артуа, забыв на время свои заботы и козни, огляделся вокруг: стены высокой залы были покрыты фресками на библейские сюжеты, резной дубовый потолок имел форму шатра. Все было ново, грустно, от всего веяло холодом. Мебель прекрасной работы терялась в огромных покоях.

– Да, место не из веселых, – сказал он, окончив осмотр. – Больше похоже на собор, чем на дворец.

– Благодарение Богу, что не на тюрьму, – вполголоса ответила Изабелла. – Если бы вы знали, как временами я тоскую о Франции.

Робера поразили не так слова королевы, как тон, которым они были произнесены. Он вдруг понял, что существуют две Изабеллы: одна – молодая государыня, сознающая свое высокое положение и даже несколько нарочито подчеркивающая свое величие, а за этой маской – страдающая женщина.

Французская дама принесла подбитый шелком кошель, сплетенный из золотых нитей; застежкой ему служили три драгоценных камня, каждый величиной с ноготь большого пальца.

– Чудесно! – воскликнул Артуа. – Как раз то, что нам надо. Для дамского обихода, правда, чуточку громоздко, но зато кто из наших придворных щеголей не мечтает прицепить к поясу такой кошель[3], чтобы блеснуть в свете…

– Закажите два таких же кошеля купцу Альбицци, – приказала Изабелла придворной даме, – и велите сделать их немедленно.

Когда придворная дама вышла, Изабелла обратилась к Роберу Артуа:

– Вы доставите их во Францию.

– Никто не узнает, что подарки привез я, – ответил Робер.

Снаружи раздались крики и смех. Робер Артуа подошел к окну. Во дворе артель каменщиков поднимала вверх, к своду строящегося здания, каменную плиту, украшенную рельефным изображением английских львов. Половина рабочих тянула веревки на блоках, остальные, взобравшись на леса, готовились принять плиту. Дело шло споро и весело.

– Как видно, король Эдуард по-прежнему любит каменно-строительные работы.

---

[3] *…прицепить к поясу такой кошель…* – В Средние века кошель, который носили на поясе, или мешок, который приторачивали к ленчику седла, образно называли bougette или bolgete, от глагола bouger – «шевелиться». Попавшее в Англию и произносившееся там boudgett, слово обозначало также мешок казначея королевства и, в более широком смысле, его содержимое. Отсюда и берет происхождение «бюджет», вернувшийся к нам из-за Ла-Манша.

Среди рабочих он узнал короля Эдуарда II, супруга Изабеллы, красивого широкоплечего и широкобедрого мужчину лет тридцати, с волнистыми густыми волосами. Его бархатный камзол был забрызган известью.

– Вот уже пятнадцать лет, как начали перестраивать Вестминстер! – гневно воскликнула Изабелла (слово «Вестминстер» она произносила на французский манер: «Вестмостье»). – Шесть лет прошло со дня моей свадьбы, и все шесть лет я живу среди лопат и корыт с известью. Построят одно, а через месяц уже ломают. И не воображайте, что король любит каменные работы – он любит каменщиков! Вы думаете, они говорят ему «сир»? Они зовут его просто Эдуард, шутят над ним, а он от всего этого в восторге. Да посмотрите сами!

Эдуард II отдавал приказания, обнимая за шею молоденького рабочего. Во дворе царила какая-то двусмысленная фамильярность. Каменных английских львов снова опустили на землю, очевидно не найдя для них подходящего места.

– Я думала, что хуже, чем при рыцаре Гавестоне, уже быть не может. Этот наглый и хвастливый беарнец так ловко управлял моим супругом, что, в сущности, управлял самим королевством. Эдуард подарил ему все мои драгоценности из свадебного ларца. Очевидно, в нашей семье уж так повелось, что драгоценности, принадлежащие женщинам, тем или иным способом перекочевывают к мужчинам!

Наконец-то Изабелла могла излить близкому человеку, родственнику, свою душу, поведать о своих горестях и унижениях. Нравы Эдуарда II были известны всей Европе.

– В прошлом году баронам и мне удалось свалить Гавестона: ему отрубили голову, тело четвертовали и выставили напоказ в четырех главных городах королевства, – удовлетворенно улыбаясь, закончила Изабелла.

Выражение жестокости, омрачившее это прекрасное чело, отнюдь не смутило Робера Артуа. Надо сказать, что подобные явления были в те времена делом самым обычным. Нередко бразды правления вручались подростку, которого могущество власти увлекало, как занятная игра. Еще вчера он забавы ради отрывал крылышки у мух, а сегодня мог забавы ради отрубить голову человеку. Такой слишком юный властелин не боялся, да и просто не представлял себе смерти и поэтому не колеблясь сеял ее вокруг себя.

Изабелла взошла на престол в шестнадцатилетнем возрасте; за шесть лет она весьма преуспела в ремесле государей.

– И представьте, кузен, – продолжала она, – я иногда даже с сожалением вспоминаю о рыцаре Гавестоне. Ибо с тех пор Эдуард, желая мне отомстить, собирает во дворец все самое низкое, самое грязное, что только есть в стране. Он посещает лондонские портовые притоны, бражничает с бродягами, бьется на кулачках с грузчиками, соперничает с конюхами в их искусстве. Нечего сказать, достойные короля турниры! А тем временем государством управляет первый встречный, лишь бы он умел развлечь Эдуарда и сам принимал участие в его развлечениях. Сейчас эту роль играют бароны Диспенсеры, отец ничуть не лучше сынка, который состоит при моем супруге в качестве наложницы. А мной Эдуард пренебрегает вовсе; если же нас сводит случай, меня охватывает такой стыд, что я вся леденею.

Она потупила голову.

– Королева, если ее не любит муж, самая несчастная среди всех своих подданных. От нее требуют лишь одно – обеспечить продолжение царствующего дома, а до чувств ее никому нет дела. Да разве любая женщина, жена барона, горожанина, крестьянина, наконец, разве согласились бы они терпеть такие мучения, какие терплю я… лишь потому, что я королева? Да последняя английская прачка имеет больше прав, чем я: она может прийти ко мне просить о заступничестве…

Робер Артуа прекрасно знал – да и кто этого не знал! – что Изабелла несчастна в браке, но до сих пор он не представлял себе ни всей глубины драмы, ни страданий молодой королевы.

– Кузина, моя прекрасная кузина, я буду вашим заступником! – пылко воскликнул он.

Изабелла печально пожала плечами, как бы говоря: «Чем же вы можете мне помочь!» Их лица почти соприкасались. Робер протянул руки, привлек ее к себе со всей нежностью, на какую только был способен, и прошептал:

– Изабелла…

Положив руки на плечи гиганта, она ответила полушепотом:

– Робер…

Они не отрываясь смотрели друг другу в глаза, и обоих охватило неожиданное волнение. Роберу показалось, что в голосе Изабеллы прозвучал тайный зов. Он вдруг почувствовал какое-то странное смятение, его сковывала, смущала собственная сила, и он боялся наделать неловкостей.

Вблизи голубые глаза Изабеллы под полукружьем каштановых бровей казались еще прекраснее, еще бархатистее казалась кожа, еще соблазнительнее похожие на пушистый персик щеки. Меж ее полуоткрытых губ белели ослепительные зубы.

Внезапно Робера охватило желание посвятить свою жизнь, свои дни, свое тело и душу этим губам, этим глазам, этой хрупкой королеве, которая сейчас вдруг стала такой, какой была на самом деле, – юной девой; его влекло к ней, и он не умел выразить это страстное и неукротимое влечение. Знатные женщины были не в его вкусе, и не в его натуре было разыгрывать из себя галантного кавалера.

– Почему я так с вами разоткровенничалась? – сказала Изабелла.

Они по-прежнему не отрываясь глядели друг другу в глаза.

– За то, чем пренебрегает король, не видя в том совершенства, другие бы мужчины денно и нощно благословляли Небеса, – произнес Артуа. – Как вам, в ваши годы, вам, красавице, блещущей свежестью, – вам лишиться естественных радостей? Неужели эти губы не узнают вкуса поцелуев? А эти руки… это тело… О, найдите себе избранника, и пусть ваш выбор падет на меня.

Бесспорно, Робер слишком уж прямо шел к цели, да и речь его совсем не напоминала поэтические вздохи герцога Гийома Аквитанского. Но Изабелла почти не слышала его слов. Робер подавлял ее, нависал над ней как глыба; от него пахло лесом, кожей, конским потом и чуть-чуть железом от долгого ношения доспехов; ни голосом, ни повадками он не напоминал завзятого покорителя женских сердец, и однако, она была покорена. Перед ней был мужчина, настоящий мужчина, грубый и необузданный, с трудом переводивший дыхание. Воля покинула Изабеллу, и ей хотелось только одного – припасть головой к этой груди, широкой, как у буйвола, забыться, утолить мучительную жажду… Она затрепетала.

Потом вдруг выпрямилась.

– Нет, Робер, не надо! – воскликнула она. – Я не сделаю того, в чем первая упрекаю своих невесток. Я не могу, не должна. Но когда я подумаю о своей участи, о том, чего я лишена, тогда как им посчастливилось иметь любящих мужей… О нет! Их должно покарать, и покарать сурово!

При мысли, что ей самой заказан грех, Изабелла втройне возненавидела своих грешных невесток. Она отошла и села на высокое дубовое кресло. Робер Артуа последовал за ней.

– Нет-нет, Робер, – повторила она, предостерегающе подняв руку. – Не пользуйтесь моей минутной слабостью, я вам этого никогда не прощу.

Совершенная красота внушает такое же уважение, как и величие. Гигант молча отступил.

Но тому, что произошло, – этим минутам не суждено никогда изгладиться из их памяти. На какое-то мгновение между ними перестали существовать всякие преграды. Они с трудом отвели друг от друга глаза. «Значит, и я могу быть любима», – подумала Изабелла, и в душе она почувствовала признательность к человеку, давшему ей эту блаженную уверенность.

– Итак, кузен, это все, что вы мне хотели сообщить, или у вас есть еще новости? – спросила она, с усилием овладевая собой.

Робер Артуа, который в свою очередь размышлял о том, правильно ли он сделал, отступив так быстро, ответил не сразу.

Он шумно перевел дыхание и произнес таким голосом, словно очнулся от долгого сна:

– Да, мадам, у меня есть к вам поручение от вашего дяди Валуа.

Какие-то новые таинственные узы связали их отныне, и каждое произнесенное слово приобретало теперь иное значение.

– Вскоре будет суд над старейшинами тамплиеров, – продолжал Артуа, – и есть все основания опасаться, что ваш восприемник от купели Великий магистр ордена Жак де Моле будет предан смерти. Ваш дядя Валуа просит вас написать королю и молить о помиловании.

Изабелла ничего не ответила. Она уселась, как и прежде, подперев ладошкой подбородок.

– Как вы на него похожи! – воскликнул Артуа.

– На кого похожа?

– На короля Филиппа, вашего батюшку.

– То, что решил король, мой отец, то решено окончательно, – медленно произнесла Изабелла. – Я могу вмешиваться в дела, затрагивающие честь нашей семьи, но я не намерена вмешиваться в государственные дела Франции.

– Жак де Моле – глубокий старец. Он был благороден, был велик. Ежели он совершал ошибки, он уже искупил их сторицей. Вспомните, что он ваш крестный отец. Поверьте мне, готовится большое злодеяние, и снова его затевают Ногаре и Мариньи! Нанося удар по тамплиерам, хотят нанести в их лице удар по всему рыцарству, по всему высокому сословию. И кто же? Безродные, ничтожные люди.

Изабелла молчала в нерешительности, дело было слишком важное, дабы она осмелилась вмешаться в него.

– Я не могу судить о таких вещах, – сказала она, – нет, не могу судить.

– Вы знаете, что я в долгу перед вашим дядей Валуа, и он будет мне крайне признателен, если я получу от вас письмо. К тому же сострадание к лицу королеве; жалость – прирожденная добродетель женщины, и добродетель, достойная всяческих похвал. Кое-кто упрекает вас в жестокосердии – вступившись за безвинных, вы дадите клеветникам блистательный отпор. Сделайте это ради себя, Изабелла, а также и ради меня.

Имя ее, Изабелла, он произнес тем же тоном, каким произнес его, когда они стояли у окна.

Королева улыбнулась:

– Вы, Робер, искусный дипломат. Кто бы мог подумать, ведь с виду вы настоящий дикарь. Хорошо, я напишу письмо, которое вам так хочется получить, и вы сможете доставить его вместе со всем прочим. Я даже попытаюсь добиться письма от короля Англии к королю Франции. Когда вы уезжаете?

– Когда прикажете, кузина.

– Думаю, кошели будут готовы завтра: значит, скоро.

В голосе королевы прозвучало огорчение. Робер взглянул ей в глаза, и она снова смутилась.

– Я буду ждать от вас гонца, который сообщит, следует ли мне отправляться во Францию. Прощайте, мессир. Увидимся за ужином.

Робер вышел, и зала вдруг показалась королеве удивительно тихой, как долина после промчавшегося над ней урагана. Изабелла прикрыла глаза и с минуту сидела не шевелясь.

«Этого человека, – думала она, – озлобили вечные несправедливости. Но на любовь он способен ответить любовью».

Люди, призванные сыграть важную роль в истории народов, по большей части не знают, каких событий станут они орудием. И эти двое, беседовавшие на закате мартовского дня 1314 года в Вестминстерском дворце, не могли себе даже представить, что в силу стечения обстоя-

тельств, в силу собственных действий они дадут толчок войне между королевствами Франции и Англии – войне, которая будет длиться более ста лет.

Глава II
Узники Тампля

На стенах от сырости проступали темные пятна. Туманный желтоватый свет робко пробивался в сводчатое подземелье.

Узник спал, скрестив руки под длинной бородой. Вдруг он задрожал всем телом, вскочил с бешено бьющимся сердцем и растерянно оглянулся вокруг. С минуту он стоял неподвижно, не спуская глаз с оконца, к которому прильнула утренняя дымка. Он прислушался. Непомерно толстые стены поглощали все звуки, однако ж он отчетливо различал перезвон парижских колоколов, возвещавших заутреню: вот зазвонили на колокольне Сен-Мартен, потом Сен-Мерри, Сен-Жермен л'Оксеруа, Сент-Эсташ и на колокольне собора Парижской Богоматери; им вторили колоколенки предместных деревень – Куртиля, Клиньянкура и Монмартра.

Ни одного подозрительного звука, который оправдывал бы внезапный испуг узника. Он вскочил с ложа, гонимый смертельной тоской, которая сопровождала каждое его пробуждение, подобно тому как сон неизменно приносил кошмары.

Он потянулся к большой деревянной лохани и жадно отхлебнул глоток воды, чтобы утишить ту лихорадку, что терзала его дни и ночи. Напившись, он подождал, пока взбаламученная поверхность воды уляжется, и нагнулся над лоханью, как над зеркалом или над зевом колодца. Темная гладь воды отразила лицо столетнего старца. Узник не отрывал от нее взора, надеясь обнаружить в этом нечетком, расплывчатом изображении свой прежний облик, но вода отражала лишь длинную патриаршую бороду, ввалившийся рот, бледные губы, облепившие беззубые челюсти, тонкий, иссохший нос, желтые провалы глазниц.

Он отодвинул лохань, поднялся и сделал несколько шагов, пока цепь, приковывавшая его к стене, не потянула его обратно. Тогда он вдруг завопил:

– Жак де Моле! Жак де Моле! Я – Жак де Моле!

Никто не отозвался на этот вопль. Никто и ничто. Узник знал, что не ответит даже эхо.

Но ему надо было во что бы то ни стало выкрикивать время от времени свое собственное имя, бросать его этим каменным столбам, сводам, дубовой двери, дабы удержать свой разум на пороге безумия, дабы напомнить себе самому, что ему семьдесят два года, что он командовал армиями, правил провинциями, достиг власти, равной королевской, и что до тех пор, пока в нем еще тлеет огонек жизни, он даже здесь, в этом узилище, есть и будет Великим магистром ордена рыцарей-тамплиеров.

В довершение жестокости или для вящего издевательства Жака де Моле и его главных сподвижников заключили в низких залах башни отеля Тампль, превращенной ныне в темницу, заточили в собственном их жилище, в их главной штаб-квартире.

– И подумать только, что я, я сам велел отстроить заново эту башню! – гневно пробормотал Великий магистр, ударив кулаком по стене.

Но тут же он с криком отдернул руку, так как от удара воскресла жестокая боль в правой кисти – раздробленный большой палец представлял собой бесформенный кусок незаживающего мяса. Да есть ли в его теле хоть одно место, не превратившееся в рану, не ставшее вместилищем боли? Кровь застаивалась в старческих, набрякших венах, и после пытки «испанским сапогом» он страдал от жесточайших судорог в икрах. Его ноги пропустили тогда между двух досок, и всякий раз, когда «пытошники» постукивали по доскам деревянным молотком, в мясо врезались дубовые шипы, а Гийом де Ногаре, хранитель печати, задавал ему вопросы и требовал признания. Какого признания? Моле лишился чувств.

Это истерзанное, изломанное тело доконали грязь, сырость, скудная пища.

А недавно он подвергся самой страшной из всех применявшихся к нему дотоле пыток – его пытали на дыбе. К правой ноге привязали груз в сто восемьдесят фунтов и с помощью

веревки, перекинутой через блок, вздернули его, старика, к потолку. Снова и снова звучал зловещий голос Гийома де Ногаре: «Признайтесь же, мессир…» И так как Моле упорно отрицал всякую вину, его бессчетное число раз подтягивали к потолку, и с каждым разом все быстрее, все резче. Ему показалось, что кости его выходят из суставов, мышцы рвутся, тело, не выдержав напряжения, распадается на части, и он завопил, что признается, да, признается в любых преступлениях, во всех преступлениях мира. Да, тамплиеры предавались содомскому греху; да, для вступления в орден требовалось плюнуть на Святое распятие; да, они поклонялись идолу с кошачьей головой; да, они занимались магией, колдовством, чтили дьявола; да, они растратили доверенные им сокровища; да, они замышляли заговор против папы и короля… В чем он бишь признался еще?

Жак де Моле с удивлением думал о том, как он смог пережить все это. Несомненно, лишь потому, что истязатели действовали с расчетом и пытки никогда не доходили до того предела, за которым должна была последовать смерть, и еще потому, что организм престарелого рыцаря, закаленного в боях и походах, оказался куда более живучим, чем сам он мог предположить.

Узник упал на колени, обратив взор к бледному лучу, пробивавшемуся сквозь оконце.

– Господи, владыко живота моего, – произнес он, – почему Ты наделил большею силой плоть мою, нежели дух мой? Был ли я достоин управлять орденом? Ты допустил меня до малодушества; не дай же мне, Господи, впасть в безумие. Дольше терпеть нет у меня силы.

Целых семь лет сидел он на цепи; только для допросов выводили его из узилища, а сколько натерпелся он от судей и теологов, от их угроз и принуждений. Неудивительно, что он боялся утратить рассудок. Нередко Великий магистр терял счет дням. Желая хоть как-то скрасить свое существование, он пытался приручить двух крыс, являвшихся каждую ночь, чтобы попировать черствой коркой хлеба. От слез он переходил к гневу, от приступов пламенной веры к необузданным богохульствам, от оцепенения к бешенству.

– Пусть они сдохнут… пусть сдохнут… – твердил он.

Кто? Климент, Гийом, Филипп… Папа, хранитель печати и король. Они умрут. Моле не знал, какая им уготована кончина, но твердо верил, что их ждут неслыханно страшные страдания во искупление свершенных ими злодейств. И он без устали твердил эти три ненавистных имени.

Не поднимаясь с колен, задрав бороду к светлому пятну оконца, Великий магистр бормотал:

– Благодарю тебя, Господи, что ты не отнял от меня ненависти. Только силой ненависти я еще держусь на этой земле.

С трудом приподнявшись с колен, он добрел до каменной скамьи, высеченной в стене и служившей ему одновременно и ложем, и единственным сиденьем.

Разве мог он когда-либо даже вообразить, что дойдет до такого унижения? Мыслью он беспрестанно уносился ко дням детства, ко дням юности, к тому, что было пятьдесят лет назад, когда он спустился с отрогов родных Юрских гор в поисках великих приключений.

В ту пору все младшие отпрыски знатных родов мечтали поскорее надеть длинный белый плащ с черным крестом – традиционное облачение рыцарей-тамплиеров. Уже от самого слова «тамплиер» веяло духом дальних странствий и подвигов, оно вызывало в воображении корабли, идущие на Восток с гордо раздутыми парусами, страны, где вечно сини небеса, коней, мчащих всадников в атаку через пески пустыни, все сокровища Аравии, богатый выкуп за пленников, отбитые у врага города, отданные на поток и разграбление, крепости, к которым от морского берега ведут гигантские лестницы. Говорили даже, что у тамплиеров есть свои тайные гавани[4], откуда они отплывают в неведомые земли…

---

[4] *Говорили даже, что у тамплиеров есть свои тайные гавани…* – Суверенный орден рыцарей Храма Иерусалимского был основан в 1128 г., чтобы обеспечить оборону святых мест в Палестине и обезопасить пути паломников. Его устав, полу-

И свершилась мечта Жака де Моле: одетый в роскошный плащ, складки которого спадали до золотых шпор, он горделиво шагал по далеким городам…

Он достиг высших ступеней иерархии ордена, таких, которых никогда и не надеялся достичь, получил все титулы и наконец по выбору братьев тамплиеров занял высший пост Великого магистра Франции и заморских стран, имел под своим началом пятнадцать тысяч рыцарей.

И все кончилось этим склепом, этой грязью, этими лишениями. Редко на чью долю выпадала такая неслыханная удача и на смену ей приходило столь глубокое унижение.

Звеном цепи Жак де Моле стал чертить на сырой стене какие-то линии, долженствующие изображать план крепости, как вдруг в коридоре, ведущем в его темницу, послышались тяжелые шаги и звон оружия.

Снова тоска сжала его сердце, но на сей раз он знал, откуда она, почему овладела им.

Массивная дверь заскрипела, открылась, и за спиной тюремщика Моле увидел четырех лучников в коротких кожаных камзолах и с пиками в руке. В нетопленом коридоре от их дыхания поднималось легкое облачко пара.

– Мы за вами, мессир, – сказал командир отряда лучников.

Моле молча поднялся со скамьи.

Тюремщик подошел к нему и несколькими сильными ударами молотка и зубила отбил заклепку, приковывавшую цепь к железным кольцам весом в четыре фунта, охватывавшим щиколотки узника.

ченный от св. Бернара, был суров. Он требовал от рыцарей целомудрия, бедности, послушания. Им не полагалось «засматриваться на женское лицо… ни… целовать особу женского пола – ни вдову, ни деву, ни мать, ни сестру, ни тетку, ни какую-либо другую женщину». На войне они должны были принимать бой один против троих и не могли быть выкуплены из плена. Охотиться им позволялось только на львов.Единственная хорошо организованная сила, эти монахи-воины были цементом войска крестоносцев, часто состоящего из беспорядочных ватаг. Находясь в авангарде всех атак, в арьергарде всех отступлений, страдая от некомпетентности и соперничества государей, которые командовали этими войсками из авантюристов всех мастей, они потеряли за два века на полях сражений более двадцати тысяч человек – значительная цифра относительно численности ордена. Тем не менее приблизили их конец несколько пагубных стратегических ошибок.За все это время они проявили себя хорошими администраторами. Поскольку в них очень нуждались, в сундуки ордена хлынуло золото Европы. Под их защиту отдавали целые провинции. На протяжении ста лет они обеспечивали эффективное управление латинским королевством в Константинополе. Они передвигались по миру как хозяева, не платя ни налогов, ни сборов, ни дорожных пошлин. Они подчинялись только папе. Их командорства были разбросаны по всей Европе и Ближнему Востоку, но центр организации находился в Париже. Силой обстоятельств им пришлось основать большой банк, в котором у Святого престола и главных государей Европы имелись текущие счета. Они ссуживали деньги под залог и авансировали выкупы пленникам. Император Бодуэн заложил у них «истинный Крест».Экспедиции, завоевания, богатство – все непомерно в истории тамплиеров, вплоть до самой судебной процедуры, к которой прибегли для их уничтожения. Один только свиток пергамента с записями допросов 1307 г. достигает в длину более 22 метров.Со времени того необычайного процесса борьба мнений никогда не прекращалась; некоторые историки приняли сторону обвиняемых, другие – Филиппа Красивого. Несомненно, что обвинения, выдвинутые против тамплиеров, были по большей части преувеличенными или ложными; но несомненно также, что в ордене имелось достаточно глубоких расхождений с церковной догмой. Долгое пребывание на Востоке свело рыцарей-храмовников с некоторыми ритуалами раннего христианства, с исламом, против которого они сражались, а может, и с эзотерическими традициями Древнего Египта. Именно из-за их церемоний посвящения возникло по недоразумению, весьма обычному для средневековой инквизиции, обвинение в идолопоклонстве, демонических практиках и колдовстве.Дело тамплиеров интересовало бы нас меньше, если бы не имело продолжения даже в истории современного мира. Известно, что орден Храма сразу же после своего официального уничтожения восстановился в виде тайного международного общества, и мы знаем имена великих оккультных магистров вплоть до XVIII в.Тамплиеры же побудили к созданию компаньонажей, ремесленных братств, которые существуют и поныне. Орден нуждался в мастеровых-христианах для своих отдаленных командорств. Рыцари организовали их и дали им устав, называвшийся «долг». Эти рабочие, не носившие меча, одевались в белое и участвовали в Крестовых походах, строя на Среднем Востоке потрясающие цитадели, чья каменная кладка до сих пор называется в архитектуре «крестоносной». Они приобрели там немалое количество методов, унаследованных от древности, которые использовали затем на Западе при возведении готических церквей. В Париже компаньоны(По-французски compagnon означает и «квалифицированный рабочий, мастеровой», и «дружинник».) жили в стенах Тампля(Temple, собственно, значит «храм» *(фр.)*.) либо в соседнем квартале, который в течение пятисот лет оставался центром «посвященных» рабочих, где пользовались «вольностью». Через их общества орден Храма имеет отношение к истокам франкмасонства. В масонских церемониях посвящения обнаруживаются те же «испытания» и даже в точности те же эмблемы, которые принадлежали былым компаниям рабочих, но, что еще удивительнее, встречаются на стенах некоторых гробниц, принадлежавших египетским архитекторам эпохи фараонов. Все это наводит на мысль, что и эти ритуалы, и эмблемы, и приемы работы были перенесены в Европу тамплиерами.

На иссохшие плечи Моле накинул широкий плащ, свой знаменитый плащ, превратившийся в жалкую вылинявшую тряпку; украшавший его черный крест висел лохмотьями.

Затем он тронулся в путь. В осанке этого немощного старца, который, шатаясь, с трудом переступая закованными в железо ногами, поднимался по лестнице башни, еще чувствовался военачальник, отбивший в последний раз Иерусалим у неверных.

«Господи, дай мне силы, – шептал он про себя, – дай мне хоть немного силы». И чтобы вернуть себе эту желанную силу, он твердил имена трех заклятых своих врагов: Климент, Гийом, Филипп…

Обширный двор Тампля окутывал туман, он лениво цеплялся за башенки крепостной стены, струился сквозь бойницы, скрывая своей белесой пеленой колокольню соседней церкви…

Сотня лучников с пиками в руках окружала большую открытую четырехугольную повозку; они вполголоса переговаривались.

А там, за стенами, шумел Париж; временами гул человеческих голосов прорезало пронзительно-грустное конское ржание.

Посреди двора медленно расхаживал мессир Ален де Парей, капитан королевских лучников, тот, кто самолично присутствовал при всех казнях, тот, кто сопровождал всех заключенных в судилище и на пытки; его невозмутимо-спокойное лицо не выражало ничего, кроме скуки. Алену де Парею было под сорок, короткие, преждевременно поседевшие волосы спадали прядями на его квадратный лоб. На нем была кольчуга, на боку висел меч, шлем он держал на сгибе локтя.

Услышав шаги Великого магистра, Ален оглянулся, а старик, заметив его, почувствовал, что бледнеет, если только могло побледнеть это мертвенно-бледное лицо.

Обычные допросы не обставлялись так торжественно: в этих случаях обходились и без повозки, и без вооруженных стражников. Несколько королевских приставов являлись за обвиняемыми и переправляли их на лодке на другой берег Сены, чаще всего в сумерки. Присутствие Алена де Парея говорило о многом.

– Итак, приговор вынесен? – спросил Моле капитана лучников.

– Да, мессир.

– А вы не знаете, сын мой, – спросил Моле после минутного колебания, – что значится в приговоре?

– Не знаю, мессир. Я получил приказ доставить вас в собор Парижской Богоматери, где будет оглашено решение суда.

Воцарилось молчание, которое нарушил Жак де Моле:

– А какой сегодня день?

– Первый понедельник после Дня святого Григория.

Это соответствовало 18 марта – 18 марта 1314 года[5].

«Везут нас на смерть?» – думал Моле.

---

[5] *Это соответствовало 18 марта – 18 марта 1314 года.* – Датировка в Средние века отличалась от той, что используется в наши дни, и, кроме того, в разных странах была разной. Официальный год в Германии, Швейцарии, Испании и Португалии начинался в Рождество; в Венеции – 1 марта; в Англии – 21 марта; в Риме – то 25 января, то 25 марта; в России – в день весеннего равноденствия.Во Франции началом легального года был день Пасхи. Это и называется «пасхальным», «французским» или «старым» стилем. Странный обычай брать точкой отсчета «плавающий» праздник приводил к тому, что некоторые годы насчитывали от 330 до 400 дней. А в некоторых было две весны – одна в начале, другая в конце года. Этот старый стиль – источник бесконечной путаницы, из-за которой возникают великие сложности при установлении точной даты. Так, согласно старому стилю, процесс над тамплиерами завершился в 1313 г., потому что Пасха 1314 г. выпала на 7 апреля.Только в декабре 1564 г., в правление Карла IX, предпоследнего короля из династии Валуа, официальное начало года было закреплено за 1 января. Россия приняла «новый» стиль только в 1725 г., Англия – в 1752-м, Венеция – последней, после завоевания Бонапартом.Разумеется, даты, приведенные в этом повествовании, согласованы с новым стилем.

Дверь башни вновь отворилась, и под конвоем стражников появились трое сановников ордена: генеральный досмотрщик, приор Нормандии и командор Аквитании.

Седовласые, как и Моле, с такими же, как у него, всклокоченными белыми бородами, в таких же лохмотьях, прикрывавших такие же хилые тела, трое сановников ордена неподвижно стояли посреди двора, растерянно хлопая веками в провалившихся орбитах, похожие на огромных ночных птиц, ослепленных дневным светом. В довершение сходства левый глаз командора Аквитании затянуло бельмом, и старик действительно напоминал филина. Вид у него был совсем безумный. У генерального досмотрщика – лысого старика – от водянки чудовищно распухли ноги и руки.

Первым пришел в себя приор Нормандии Жоффруа де Шарне: путаясь в цепях, он бросился к Великому магистру и обнял его. Долгая дружба связывала этих людей. Жак де Моле покровительствовал Шарне, который был моложе его на десять лет, и видел в нем своего преемника.

Поперек лба Шарне шел глубокий рубец, давний след схватки, во время которой ударом меча ему рассекло лоб и повредило нос. Мужественный старец уткнулся изуродованным войной лицом в плечо Великого магистра, чтобы скрыть слезы.

– Мужайся, брат мой, мужайся, – сказал Великий магистр, сжимая его в объятиях. – Мужайтесь, братья мои, – повторил он, обнимая по очереди двух остальных своих сотоварищей.

Каждый при виде другого мог судить о своем собственном состоянии.

К узникам приблизился тюремщик.

– Вас могут расковать, мессиры, – сказал он.

Великий магистр поднял руки усталым и покорным жестом.

– У меня нет ни одного денье, – ответил он.

Ибо при каждом выходе из тюрьмы тамплиеры, для того чтобы с них сняли или на них надели цепи – на тюремном языке расковали или заковали, – должны были отдать один денье из тех двенадцати, что отпускала им казна для уплаты за скудную, несъедобную пищу, за солому для ложа и за стирку белья. Еще одна насмешка, еще одно проявление жестокости со стороны Ногаре… Ведь тамплиеры находились под следствием, им еще не вынесли обвинительного приговора. Они имели право на бесплатное содержание. Двенадцать денье, когда кусок мяса стоил все сорок! Другими словами, четыре дня в неделю они сидели вовсе без пищи, спали на голых камнях и гнили в грязи.

Приор Нормандии вынул из старого кожаного кошелька, висевшего у пояса, два последних денье и швырнул монеты на землю – один денье за расковку его самого, один за Великого магистра.

– Брат мой! – протестующе воскликнул Жак де Моле.

– На что мне они теперь? – ответил Шарне. – Не отказывайтесь, брат мой, тут даже никакой моей заслуги нет.

Каждый удар молотка, разбивавшего их цепи, болью отдавался в старых костях. Но еще сильнее болело сердце, куда, казалось, прихлынула вся кровь.

– На сей раз нам конец, – пробормотал Моле.

Он думал о том, какой смерти их предадут и суждено ли им испытать еще неизведанные пытки.

– Но нас ведь расковали, кто знает, может быть, это и добрый знак, – возразил генеральный досмотрщик, разминая вспухшие от водянки руки. – А вдруг папа решил нас помиловать?

Во рту у него осталось только два передних зуба, и при разговоре он пришепетывал; от долгого пребывания в темнице разум его помутился – старик впадал в детство.

Великий магистр пожал плечами и молча указал на лучников, выстроившихся вокруг повозки.

– Приготовимся к смерти, братья мои, – сказал он.

– Вы только посмотрите, что они со мной сделали! – воскликнул досмотрщик. Он засучил рукав, обнажив изуродованную руку.

– Всех нас пытали, – ответил Великий магистр.

Каждый раз, когда при нем заговаривали о пытках, он в смущении опускал глаза. Ведь он не выдержал, дал ложные показания и не мог простить себе своей слабости.

Он не отрывал глаз от огромной крепости, которая была когда-то его гнездовьем, символом его могущества.

«В последний раз», – подумалось ему.

В последний раз глядел он на эту каменную громаду, на ее башенку, церковь, в последний раз обнимал взглядом ее дворцы, дома, дворы и сады – настоящая крепость в самом сердце Парижа[6].

Здесь в течение двух веков жили, творили молитвы и суд тамплиеры, здесь находили они ночлег, здесь обсуждали планы дальних походов, здесь, в этой башенке, хранилась казна французского государства, вверенная их попечению и их власти.

Сюда после неудачных Крестовых походов Людовика Святого, после падения Палестины и Кипра возвращались они в сопровождении своих оруженосцев, своих мулов, груженных золотом, своей кавалерии на чистокровных арабских конях и своих черных рабов.

Жак де Моле мысленно видел блистательное возвращение побежденных, пытавшихся держаться героями.

«Мы стали никому не нужны и не поняли этого, – думал Великий магистр. – Мы по-прежнему говорили о новых Крестовых походах, об отвоевании утраченных владений… Быть может, мы пользовались незаслуженно большими привилегиями, не по чину гордились. Были Христовым воинством, а превратились в банкиров Церкви и короны. А чем больше у тебя должников, тем больше врагов».

Ловко же их провели! Трагедия началась в тот день, когда Филипп Красивый попросил принять его в орден тамплиеров, чтобы самому стать Великим магистром. Капитул ответил ему отказом, высокомерным и категорическим отказом.

«Правильно ли я поступил? – в сотый раз думал Жак де Моле. – Не слишком ли я ревновал к власти своей? Нет, иначе поступить я не мог; в наших правилах записано раз и навсегда: „Среди командоров наших не может быть государей“».

Не забыл король Филипп своей неудачи, не забыл нанесенной ему обиды. Начал действовать хитростью, вдвойне осыпая Жака де Моле милостями и знаками дружеского расположения. Разве Великий магистр не крестил его, Филиппа, дочь Изабеллу? Разве он, Великий магистр, не был надежнейшей опорой королевства? Однако королевскую казну переместили из Тампля в Лувр. В то же самое время о тамплиерах поползла с чьей-то легкой руки глухая, но ядовитая молва: говорили, что они наживаются на продаже зерна и что они виновники голода. Что у них одно на уме – набивать мошну, а гроб Господень пусть-де остается в руках неверных. А поскольку тамплиеры выражались, как и подобает воинам, языком грубым и недвусмысленным, их обвиняли в богохульстве. Даже поговорку сложили – «бранится, как тамплиер». А от богохульника до еретика один шаг. Говорили, что у них процветают противоестественные нравы и что черные их рабы – волшебники и колдуны…

«Само собой разумеется, не все наши братья отличались святостью, а многих из нас сгубила бездеятельность».

---

[6] *…настоящая крепость в самом сердце Парижа.* – Дворец тамплиеров, его пристройки, «угодья» и все соседние улицы образовывали квартал Тампль, само название которого сохранилось до наших дней. В его большой башне, служившей застенком для Жака де Моле, был заключен четыре с половиной века спустя Людовик XVI. Он покинул ее лишь для того, чтобы отправиться на гильотину. Эта башня исчезла в 1811 г.

Особенно упорно говорили, что во время церемонии приема неофитов ищущих заставляли отрекаться от Христа, плевать на Святое распятие, принуждали ко всевозможным мерзостям.

Под тем предлогом, что пора, мол, положить конец недостойным слухам, Филипп Красивый предложил Великому магистру во имя интересов и чести ордена расследование.

«И я согласился, – думал Великий магистр, – меня ввели в заблуждение, я был чудовищно обманут».

Ибо октябрьским днем 1307 года… Ах, никогда Моле не забудет этого дня… «Еще накануне он меня лобызал, звал меня братом, по его настоянию я возглавлял процессию на погребении его невестки графини Валуа…»

На заре в пятницу, 13 октября – поистине роковое число – король Филипп, еще задолго до того раскинувший гигантскую сыскную сеть, приказал от имени святой инквизиции арестовать всех тамплиеров Франции по обвинению в ереси. Ногаре самолично арестовал Жака де Моле и сто сорок рыцарей, проживавших в Тампле…

Голос мессира Алена де Парея, бросившего лучникам какое-то приказание, оторвал Великого магистра от его печальных, сто раз передуманных мыслей. Он вздрогнул всем телом. Мессир Ален велел лучникам построиться в походном порядке. Шлем он надел на голову. Оруженосец подвел ему лошадь и придержал стремя.

– Ну, пойдем, – сказал Великий магистр.

Узников пинками подогнали к повозке. Первым взошел на нее Жак де Моле. Командор Аквитании, тот, у которого один глаз затянуло бельмом, человек, некогда отбросивший турецкое воинство от Сен-Жан-д'Акра, так и не понял, что происходит. Пришлось втащить его на повозку силой. Брат генеральный досмотрщик молча шевелил губами, продолжая бесконечную беседу с самим собой. Когда на повозку вскарабкался Жоффруа де Шарне, вдруг где-то рядом с конюшней завыла собака, и рубец, который пересекал лоб приора Нормандии, сурово нахмурившего брови, сморщился, налился кровью.

Четыре лошади, запряженные цугом, медленно повлекли тяжелую повозку.

Под неистовый рев толпы распахнулись главные ворота. Тысячи людей, все жители квартала Тампль и соседних кварталов, давя друг друга, жались к крепостным стенам. Лучники, возглавлявшие шествие, тупым концом пик прокладывали дорогу среди вопящей толпы.

– Дорогу королевским слугам! – кричали лучники.

Неподвижно сидя на коне, с обычным своим невозмутимым и скучающим видом Ален де Парей царил над всей этой сумятицей.

Но крики разом смолкли, когда появились тамплиеры. Увидев четырех иссохших, как скелеты, старцев, которые при толчках валились друг на друга, парижане, охваченные невольной жалостью, на секунду онемели от удивления.

Но снова раздался крик: «Смерть им!», «Смерть еретикам!» – это кричали королевские стражники, смешавшиеся с народом. И тогда толпа, готовая присоединить свой голос к любому выкрику, исходящему от власть имущих, и побушевать, если это ничем не грозит, начала реветь во всю глотку:

– Смерть им!

– Воры!

– Идолопоклонники!

– Вы только взгляните на них! Что-то нынче эти язычники не так спесивы, как раньше! Смерть им!

По всему пути зловещего кортежа раздавались проклятия, угрозы, грубые шутки. Но пламя этой ярости не разгоралось. Добрая половина толпы по-прежнему молчала, и молчание это было не только свидетельством благоразумия – оно красноречиво говорило о многом.

Так много переменилось за эти семь лет! Теперь люди знали, как шло судилище. Видели тамплиеров на церковной паперти, где они показывали верующим переломанные во время пыток ноги. Были свидетелями того, как на площадях городов Франции раскладывали костры и сотнями сжигали на них рыцарей-храмовников. Слышали, что некоторые церковные комиссии отказывались выносить приговор и что пришлось даже назначить новых епископов – к примеру, брата коадъютора Ангеррана де Мариньи, – с целью добиться осуждения тамплиеров. Утверждали, что сам папа Климент V уступил против воли, ибо, находясь в руках короля, убоялся судьбы предшественника своего папы Бонифация. К тому же за эти семь лет зерна не стало больше, цены на хлеб не упали, а возросли, и приходилось признать, что виновны в этом не тамплиеры.

Двадцать пять лучников с луком на перевязи и пикой за плечом шагали перед повозкой, столько же шло по обе ее стороны, и столько же замыкало шествие.

«Ах, будь у нас хоть чуточку прежней силы», – шептал Великий магистр. В двадцать лет он, не задумываясь, прыгнул бы на плечи ближайшего лучника, выхватил его пику и попытался убежать или дрался бы, пока не постигла бы его тут же на парижских улицах смерть. А сейчас слабые старческие ноги не могли его удержать на тряской повозке.

Позади брат досмотрщик по-прежнему бормотал свое, и слова с шипением вылетали из его беззубого рта:

– Они нас не осудят. Не верю, чтобы они нас осудили. Мы же теперь никому не опасны…

А старый кривой тамплиер, только сейчас вышедший из своего оцепенения, шептал:

– Как славно на улице! Как славно подышать свежим воздухом. Не правда ли, брат мой?

«Он даже не понимает, куда нас везут», – подумал Великий магистр.

Приор Нормандии дотронулся до его плеча.

– Мессир, брат мой, – произнес он вполголоса, – видите, там в толпе многие плачут, крестятся. Значит, мы не одиноки на нашем тернистом пути.

– Люди эти могут нас жалеть, но помочь нам они бессильны, – ответил Жак де Моле. – Мне бы хотелось видеть здесь иные лица.

Брат приор понял, какие именно лица хотелось бы видеть Великому магистру и какой безумной последней надеждой тешит он себя. Но тут же он сам стал жадно всматриваться в толпу. Ведь известное количество тамплиеров сумело вырваться в 1307 году из когтей сыска, кое-кто укрылся в монастырях, другие, наоборот, сложив с себя духовный сан, жили в безвестности, скрывались в селах и городах; одни перебрались в Испанию, где арагонский король, отказавшись повиноваться приказам короля Франции и папы, предоставил убежище командорам тамплиеров, основав для них новый орден. И наконец, те, что предстали перед более милостивым судилищем, были отданы на поруки монахам ордена госпитальеров. Все эти бывшие тамплиеры, елико возможно, поддерживали между собой связи и находили способ тайно общаться друг с другом.

И Жак де Моле думал, что, быть может…

Быть может, они устроили заговор. Быть может, из-за угла улицы, из-за угла этой улицы Блан-Манто, из-за угла улицы Бретонри, из-за ограды монастыря Сен-Мерри выскочит группа людей и, выхватив спрятанное под кольчугой оружие, разгонит лучников, а другие, притаившиеся в оконных нишах, начнут метать камни. Повозка помчится галопом, нападающие в довершение паники перережут солдатам путь…

«Но ради чего бывшие наши братья решатся на такой поступок? – думал Моле. – Для того чтобы освободить своего Великого магистра, который предал их, который отрекся от ордена, не выдержал пыток…»

И все же он всматривался в толпу, в самые задние ее ряды, но видел лишь почтенных отцов семейства, которые несли детей на плечах, чтобы те могли насладиться зрелищем и

чтобы потом, много лет спустя, когда перед ними произнесут слово «тамплиер», вспомнили бы четырех бородатых трясущихся старцев, окруженных конвоем, словно злодеи.

Генеральный досмотрщик по-прежнему что-то шепелявил, а герой Сен-Жан-д'Акра по-прежнему бормотал о том, как славно прогуляться утром.

Великий магистр почувствовал, как в его душе нарастает гнев, граничащий с безумием, – гнев, который охватывал его временами в темнице и заставлял с воплями биться о каменные стены. Да, он готов был совершить нечто страшное, ужасное, что именно – он не знал сам… Но эта потребность была сильнее его.

Он принимал смерть, смерть была для него даже избавлением, но он не желал умирать обесчещенным. В последний раз он почувствовал в старческой крови тот боевой пыл, который воодушевлял его в юности. Он хотел умереть как воин.

Он нащупал руку Жоффруа де Шарне, старого своего соратника, единственного несломленного, сильного человека, бывшего с ним, и крепко сжал эту руку.

Вскинув на него глаза, приор Нормандии увидел, что на висках Великого магистра напряженно бьются жилы, похожие на голубых змеек.

Кортеж подходил к мосту Нотр-Дам.

Глава III
Невестки короля

Аппетитный запах горячего теста, меда и масла стоял вокруг лотка.

– Вафли горячие, горячие вафли! На всех не хватит! А ну-ка, горожане, спешите, налетайте! Вафли горячие! – надрывался торговец, возясь у печурки, стоявшей прямо под открытым небом.

Он поспевал повсюду разом – раскатывал тесто, вытаскивал из огня готовые вафли, выдавал сдачу, зорко следил за тем, чтобы мальчишки не стащили чего с лотка.

– Вафли горячие!

Кондитер так захлопотался, что не заметил, как новый покупатель протянул к стойке холеную белую руку, взял тонкую трубочку и положил взамен ее денье. Он успел заметить только, что левой рукой покупатель положил вафлю обратно, откусив от нее всего один кусочек.

– Уж больно заелись! – проворчал торговец, раздувая печурку. – Какого им еще рожна нужно: мука пшеничная, а масло прямо из Вожирара…

Оторвавшись от печурки, он поднял глаза и, увидев покупателя, к которому относилась его хула, так и замер с открытым ртом – конец фразы застрял у него в глотке. Перед лотком стоял высокий человек с огромными неподвижными глазами, в белом капюшоне и плаще до колен.

Кондитер не успел отвесить поклон и пробормотать извинения, как человек в белом капюшоне уже отошел прочь.

Опустив руки и не замечая, что целый противень вафель уже начал гореть, хозяин все глядел вслед этому человеку, видел, как он смешался с толпой.

Если верить путешественникам, объехавшим Африку и Восток, торговые кварталы Сите напоминали арабские рынки. То же непрерывное движение толпы, те же тесно составленные лавчонки и лотки, те же запахи кипящего масла, пряностей и кожи, те же неторопливо шагающие покупатели и те же зеваки, забившие все проходы. Каждая улица, каждый переулок имел свою специальность: здесь, в комнатушке за лавкой, сновал взад и вперед по станку челнок ткача; тут стучали по железной ноге башмачники; рядом ловко действовал шилом шорник, а чуть подальше столяр вытачивал ножки для табурета. Были улицы, где торговали птицей; были улицы, где торговали травами и овощами; были «кузнечные» улицы, где с оглушительным звоном бил по наковальне молот и в горне багровели раскаленные угли. Золотых дел мастера облюбовали себе набережную, которая так и называлась Набережной ювелиров, и сидели, согнувшись над тиглями.

Узенькая полоска неба едва проглядывала меж деревянных и глинобитных домов, крыши которых почти соприкасались, так что из окна можно было свободно протянуть руку соседу, жившему в доме напротив. Земля, за исключением маленьких островков, была покрыта зловонной грязью, по которой в зависимости от состояния и положения кто шлепал босиком, кто семенил в деревянных башмаках, кто ступал в кожаных туфлях.

Широкоплечий человек в белом капюшоне, заложив руки за спину, медленно брел среди шумливой толпы и, казалось, не замечал тесноты и толчков. Впрочем, многие прохожие с поклоном уступали ему дорогу, на что он отвечал коротким наклонением головы. Он был атлетического сложения, белокурые, с рыжинкой, шелковистые волосы падали волнами почти до плеч, правильное, невозмутимо спокойное лицо поражало удивительной красотой.

Три королевских стражника[7] в голубых камзолах – в руке каждого красовался жезл, оканчивающийся резной лилией, символом их власти, – следовали на некотором расстоянии за прохожим в белом капюшоне, останавливались, когда останавливался он, и шли вперед, когда шел вперед он.

Вдруг какой-то юноша в узком полукафтане, с трудом сдерживая на сворке трех борзых, загородил проход в соседний переулок и, увлекаемый сильными псами, бросился под ноги прохожему, чуть его не опрокинув. Собаки сбились в кучу и завыли.

– Вот еще нахал! – Молодой человек говорил с заметным итальянским акцентом. – Вы чуть моих собак не подавили. Жаль, что они в вас не вцепились.

Невысокий, но ладно сложенный юноша лет восемнадцати от роду, со жгучими черными глазами и тонким овалом лица, теперь уже нарочно загородил дорогу и выкрикивал что-то басом, стараясь придать себе вид взрослого мужчины. Кто-то из прохожих взял его под руку и шепнул на ухо несколько слов. Юноша тут же снял шапку и склонился перед незнакомцем в глубоком поклоне, в котором чувствовалось уважение, лишенное, впрочем, всякого раболепства.

– Прекрасные собаки! Чьи же они? – спросил прохожий в белом капюшоне, не отрывая от лица юноши своих огромных холодных глаз.

– Моего дяди банкира Толомеи, с вашего позволения, – ответил юноша.

Не сказав больше ни слова, человек в белом капюшоне двинулся вперед. Когда его фигура скрылась в толпе, а стражники проследовали в том же направлении, возле молодого итальянца собрался кружок зевак, раздался громкий хохот. А юноша не трогался с места, казалось, он не мог стерпеть обиду; даже собаки и те смущенно жались к его ногам.

– Что-то он теперь притих, – раздался насмешливый голос.

– Поглядите-ка на него! Чуть было не свалил короля на землю, да еще его же и обругал.

– Тебя, сынок, веселенькая ночка ждет, будешь ночевать в тюрьме и вдобавок тридцать горячих к ужину получишь.

Итальянец сердито оглянулся на зевак.

– Ну и что тут такого? – заговорил он. – Я ведь его никогда не видал; как же я мог его узнать? И потом, запомните, горожане, что родом я из той страны, где нет королей, и там можно не жаться к стене. В моем родном городе Сиене каждый гражданин сам себе король. Кто хочет сразиться с Гуччо Бальони – пусть выходит.

Он, словно вызов, бросил толпе свое имя. Непомерной гордыней горели глаза юного тосканца. У пояса поблескивал кинжал. Никто не спешил откликнуться на его вызов; юноша щелкнул пальцами, поднимая собак, и пошел своей дорогой; как он ни бодрился, он не мог скрыть уныния при мысли, не возымеет ли для него эта дурацкая выходка печальных последствий.

Ибо толкнул он не кого иного, как самого короля Франции Филиппа Красивого. Этот властелин, с которым не мог и мечтать сравниться могуществом ни один здравствующий государь, любил бродить по городу как простой горожанин, любил по дороге справиться о ценах на товары, попробовать фрукты, проверить добротность ткани, послушать, о чем судачит парижский люд. Он как бы щупал пульс жизни своего народа. Иной раз чужеземец, не зная, кто перед ним, справлялся у короля о дороге. Раз даже его остановил солдат и потребовал уплаты жалованья. Столь же скупой на слова, как и на деньги, король чаще всего обходился во время таких прогулок двумя-тремя фразами и ограничивал свои расходы двумя-тремя су.

---

[7] *Три королевских стражника…* – Sergents royaux были низшими должностными лицами, которым поручались различные задачи, связанные с общественным порядком и правосудием. Их роль ощутимо смешивалась с ролью приставов и привратников, тоже наделенных жезлами. Кроме всего прочего, им полагалось сопровождать короля или идти впереди министров, членов парламента и глав Университета. Дубинка наших современных полицейских (sergents de ville, то есть городовых) – потомок жезла тех былых стражников, равно как и булава служителей на университетских церемониях.

Король проходил по мясному рынку, как вдруг на колокольне собора Парижской Богоматери тревожно запели колокола и издалека донесся громкий шум.

– Вот они! Вот они! – раздались крики.

Шум все приближался; люди в волнении бросились бежать. Здоровенный мясник вышел из-за прилавка и, не выпуская из рук резака, завопил во всю глотку:

– Смерть еретикам!

Жена дернула мясника за рукав:

– Опомнись, какие они еретики! Сам ты еретик! Иди-ка лучше в лавку, займись с покупателями, горе ты мое горькое, бездельник этакий!

Супруги сцепились. Их тут же окружила толпа зевак.

– Они сами во всем признались перед судьями, – вопил мясник.

– А судьи-то каковы? – подхватил из толпы чей-то голос. – Судьи – они судьи и есть. Заплатишь им побольше, ну и рассудят по-твоему, боятся, что их под зад коленом с места турнут.

Тут все заговорили хором.

– Тамплиеры – они святые люди. Сколько одной милостыни раздавали.

– Взяли бы их деньги, а самих бы не мучили.

– А потому и мучили, что король их первый должник.

– Правильно король поступил.

– Что король, что тамплиеры – один черт, – крикнул молоденький подмастерье. – Если волки промеж собой грызутся, нам же лучше – значит, целы будем.

Какая-то женщина случайно оглянулась, побледнела как полотно и сделала знак остальным – молчите, мол. Позади стоял Филипп Красивый и спокойно глядел на всех своим неподвижным, ледяным взором. Стражники незаметно приблизились к королю, готовые вмешаться в случае надобности. В мгновение ока толпа рассыпалась, зеваки опрометью бросились по улице, крича во весь голос:

– Да здравствует король! Смерть еретикам!

Ни один мускул не дрогнул на лице короля. Казалось, он ничего не слышал. Если ему и доставляло удовольствие заставать людей врасплох, то наслаждался он этим втайне.

А шум становился все оглушительнее. Кортеж, направлявшийся к собору Парижской Богоматери, показался на углу улицы, и король, укрывшись в проходе между двумя домами, заметил Великого магистра, стоявшего на повозке вместе с тремя своими сотоварищами. Великий магистр держался прямо; при виде его король недовольно поморщился: Жак де Моле был скорее похож на мученика, нежели на побежденного.

Отстав от жадной до зрелищ толпы, бросившейся вслед за повозкой, Филипп Красивый свернул на внезапно опустевшую улицу и все тем же спокойным шагом направился ко дворцу.

Пусть толпа поворчит немного, пусть Великий магистр гордо выпрямляет свой старческий хилый стан – через час все будет кончено, и приговор – король был в этом уверен – вынесут единогласно. Через час дело целых семи лет будет завершено, закончено. Епископский трибунал учрежден; лучников предостаточно; стражники надежно охраняют все переулки. Через час дело тамплиеров перестанет занимать умы, и в любом случае королевская власть лишь укрепится.

«Даже дочь моя Изабелла будет довольна. Я уступлю ее просьбе и всех удовлетворю. Но дольше тянуть было уже нельзя», – подумал Филипп Красивый, вспомнив только что услышанный разговор.

Он прошел к себе во дворец через Гостиную галерею.

Филипп Красивый заново перестроил дворец, и от старых зданий осталась только Сент-Шапель, заложенная при дяде Филиппа Людовике Святом. Возведение новых зданий и украшение их было в духе той эпохи. Государи соперничали на поприще архитектуры: если в Вестмин-

стере строили башню, то тут же возводилась башня в Париже. Новый архитектурный ансамбль Сите с огромными белокаменными башнями, возвышающимися над Сеной, выглядел внушительно, даже чуть-чуть кичливо.

Филипп, прижимистый насчет мелких трат, не скупился, когда речь шла об утверждении его могущества. Но поскольку не в его характере было пренебрегать выгодой, он за солидное вознаграждение предоставил торговцам право торговать в длинной галерее, которая шла через весь дворец, поэтому она звалась в ту пору Гостиной галереей, впоследствии ее переименовали в Торговую галерею[8].

Гостиная галерея представляла собой просторное крытое помещение, похожее на собор с двумя приделами. Стройностью ее пропорций восторгались приезжие чужеземцы. Над колоннадой стояли в ряд сорок статуй сорока французских королей, которые сменялись на престоле королевства франков, начиная с Фарамона и Меровинга. Напротив статуи Филиппа Красивого возвышалась статуя Ангеррана де Мариньи, коадъютора и правителя королевства, того, кто вдохновлял короля на труды и направлял их.

Вокруг колонн шли прилавки, заваленные различными принадлежностями туалета, стояли рундуки с женскими нарядами; купцы бойко торговали украшениями, вышивками и кружевом, а вокруг вечно толпились хорошенькие парижанки и придворные дамы. Открытая для всех и каждого, Гостиная галерея стала излюбленным местом прогулок, деловых встреч и нежных свиданий. Под сводами раздавался звонкий смех, слышался гул голосов, веселый женский лепет, но весь этот шум покрывали пронзительные выкрики зазывал. Тут и там звучал иностранный говор, преимущественно итальянский и фламандский.

Какой-то сухопарый малый, решивший ввести в употребление носовые платки и нажиться на этой новинке, выхваливал свой товар, размахивая перед носом слушавших его роскошных дам квадратиками полотна с зубчиками по краям.

– Разве не обидно, прекрасные дамы, – кричал он, – сморкаться с помощью собственных пальцев или в рукав, когда существуют прелестные платочки, нарочно для того изобретенные? Разве вся эта красота не создана для ваших сиятельных носиков?

Рядом благообразный старичок из кожи лез вон, стараясь всучить девице штуку английских кружев.

Филипп Красивый не спеша шел по галерее. Придворные встречали его низкими поклонами. Женщины приседали в реверансе. Король любил этот веселый шум, смех, эти знаки почтения, лишний раз подчеркивающие его власть, но скрывал свои чувства от посторонних взглядов. Здесь набатный звон, рвущийся с колокольни собора Парижской Богоматери, заглушенный гулом голосов, казался совсем далеким, мягким, даже добродушным.

Вдруг король заметил двух женщин, стоявших в обществе высокого, хорошо сложенного белокурого юноши, – прелестная группа привлекала всеобщее внимание и взгляды своей сияющей молодостью и изяществом. Молоденькие дамы были невестки короля – те, кого называли «бургундские сестры». Жанна, графиня Пуатье, жена среднего сына Филиппа, и Бланка, младшая ее сестра, жена младшего сына короля. Их спутник был в костюме придворного.

Они беседовали вполголоса, сдерживая невольное оживление молодости. Филипп Красивый замедлил шаг, присматриваясь к своим невесткам.

«Мои сыновья не могут на меня пенять, – подумал он. – Я не только преследовал интересы короны, не только искал выгодных союзов, я дал им прехорошеньких спутниц жизни».

«Бургундские сестры» мало походили друг на дружку. Старшей, Жанне, супруге Филиппа Пуатье, исполнился двадцать один год. Она была высока и стройна, каштановые

---

[8] *…впоследствии ее переименовали в Торговую галерею.* – Эта милость, оказанная некоторым купеческим корпорациям, – торговать вблизи или в самом жилище государя, пришла, похоже, с Востока. В Византии держать лавки у входа в императорский дворец имели право торговцы благовониями, поскольку аромат их товара был самым приятным из того, что могло достичь ноздрей базилевса.

волосы ее казались почти пепельными, что-то в ее сдержанных манерах, в привычке искоса взглядывать на собеседника напоминало королю прекраснейшую борзую из его своры. Одевалась она скромно и просто, но простота эта лишь подчеркивала изысканность ее туалета. В тот день на ней было длинное платье светло-серого бархата с узкими рукавами, поверх которого она набросила полудлинную накидку, отороченную горностаем.

Ее сестра, пухленькая Бланка, чуть ниже ростом, румянее, ребячливее, была моложе ее на три года, на ее щеках виднелись совсем детские ямочки, которым суждено было сохраниться еще надолго. При светлых волосах золотистого оттенка у нее были – явление редкое для блондинки – карие глаза и прелестные крохотные зубки. Одеваться было для нее не только забавой, но и страстью. В этой своей страсти она доходила до крайностей, до утраты хорошего вкуса. Она питала слабость к непомерно большим чепцам с плоеными оборочками и нацепляла на воротник, манжеты, к поясу бесчисленное количество драгоценных пряжек и брошей. Она любила платья, расшитые сверху донизу жемчугом и золотым позументом. Но Бланка была так мила, что ей прощали любое безрассудство, была так довольна сама собой, что радовала все взоры.

Маленькая группа оживленно обсуждала какое-то дело, все время упоминая о сроке в пять дней… «Ну разумно ли поднимать такой переполох из-за пяти дней?» – как раз произнесла графиня Пуатье, когда из-за колонны неожиданно для собеседников возникла фигура короля.

– Добрый день, дочери мои, – сказал он.

Молодые люди разом замолкли. Юный красавец склонился в нижайшем поклоне, отступил на шаг, как то полагалось ему по чину, и потупил глаза. Сестры, сделав глубокий реверанс, молча стояли перед королем; обе покраснели и слегка растерялись. По их смущенным лицам видно было, что их застигли врасплох.

– Ну что ж, дочки, – продолжал король, – уж не помешал ли я вашей болтовне? О чем это вы тут говорили?

Его не удивил подобный прием. Он уже давно привык к тому, что все люди, с которыми он сталкивался, даже домашние, даже самые близкие родственники, робели в его присутствии. Сам он нередко с удивлением спрашивал себя, почему при его приближении между ним и другими людьми возникает ледяная стена – за исключением только Мариньи и Ногаре; не мог он понять и того, почему на всех лицах при виде его вдруг появлялось испуганное выражение. А ведь он старался быть приветливым и любезным. Он желал, чтобы его одновременно и боялись, и любили. Непомерно большое притязание…

Первой обрела свою обычную самоуверенность маленькая Бланка.

– Простите нас, государь, – произнесла она, – но не так-то приятно повторить то, что мы говорили.

– Почему же? – спросил Филипп Красивый.

– Потому что… потому что мы плохо отзывались о вас, – ответила Бланка.

– В самом деле? – сказал Филипп, не зная, принять ли слова невестки за шутку, и удивляясь, что с ним осмеливаются шутить.

Он бросил быстрый взгляд на юношу, который, стоя на почтительном расстоянии, видимо, чувствовал себя не совсем ловко в присутствии короля, и спросил, указывая на него движением подбородка:

– Кто это такой?

– Мессир Филипп д’Онэ, конюший дяди Валуа; дядя прислал его ко мне в качестве провожатого, – отозвалась графиня Пуатье.

Юноша снова отвесил низкий поклон.

На мгновение в голове короля промелькнула мысль, что сыновья его, пожалуй, поступают не совсем разумно, позволяя своим женам разгуливать с такими красивыми конюшими, и что

прежний обычай, по которому принцессы имели право выходить из дома только в сопровождении придворных дам, был не так-то плох.

– У вас есть брат? – спросил он молодого конюшего.

– Да, государь, мой брат находится при его высочестве графе Пуатье, – ответил д'Онэ, с трудом выдерживая тяжелый королевский взгляд.

– Верно, я вас всегда путаю, – произнес король. И, обратившись к Бланке, спросил: – Итак, что же вы обо мне говорили дурного?

– Мы с Жанной пеняли на вас, батюшка, ибо наши мужья совсем отбились от рук: пять ночей кряду вы держите их допоздна на заседаниях Совета или посылаете бог весть куда по государственным делам.

– Дочки, дочки, разве можно говорить о таких вещах вслух, – укоризненно сказал король.

Он был целомудрен от природы, и говорили, что в течение своего девятилетнего вдовства не знал женщин. Но он не мог сердиться на Бланку. Ее живой, веселый нрав, ее смелые речи обезоружили бы любого. Хотя слова невестки несколько покоробили его, в душе он забавлялся ее отвагой. Король улыбнулся, что случалось не чаще раза в месяц.

– А что скажет третья? – спросил он.

Под словом «третья» он подразумевал Маргариту Бургундскую, кузину матери Жанны и Бланки, жену его старшего сына Людовика, короля Наваррского.

– Маргарита? – воскликнула Бланка. – Она заперлась у себя, она сердится, она говорит, что вы такой же злой, как и красивый.

И снова король не мог сразу решить, как следует ему принять последние слова невестки. Но Бланка смотрела на него таким ясным, таким наивным взглядом. Только она одна осмеливалась шутить с королем, только она одна не трепетала в его присутствии.

– Ну что ж, утешьте ее и утешьтесь сами, Бланка. Людовик и Карл проведут нынешний вечер с вами. Сегодня в королевстве хороший день, – сказал Филипп. – Вечернего заседания совсем не будет. А ваш супруг, Жанна, вернется завтра, я знаю, что с его помощью наши дела во Фландрии сильно продвинулись вперед. Я им доволен.

– Тогда я вдвойне отпраздную его приезд, – промолвила Жанна, склонив свою прекрасную шею.

Для короля Филиппа этот разговор был пределом многословия. Он резко повернулся к невесткам спиной и, даже не попрощавшись, зашагал к огромной лестнице, ведущей в его покои.

– Уф! – вздохнула Бланка, приложив руку к бешено бившемуся сердцу и следя взором за удаляющимся королем. – На сей раз спаслись.

– Я думала, что умру от страха, – произнесла Жанна.

Филипп д'Онэ вспыхнул до корней волос, но теперь его щеки окрасил румянец гнева, а не смущения.

– Благодарю вас, – сухо сказал он Бланке, – не особенно-то приятно выслушивать подобные вещи.

– А что прикажете делать? – воскликнула Бланка. – Может быть, вы посоветуете мне что-нибудь получше? Сам стоял как вкопанный и что-то мямлил. Он подкрался сзади, и мы его не видели. А во всем государстве нет более чуткого уха. Если он услышал наши последние слова, иного способа вывернуться не было. И вместо того чтобы меня обвинять, вы лучше бы поблагодарили меня, Филипп.

– Перестаньте, – сказала Жанна. – Пойдем скорее к лавкам; совершенно незачем стоять с таким заговорщицким видом.

Непринужденным шагом они двинулись к лоткам, отвечая на почтительные приветствия встречных.

– Мессир, – вполголоса произнесла Жанна, – должна вам заметить, что только вы и ваша глупая ревность – причина всего. Если бы вы тут не стонали, не плакались на жестокость королевы Наваррской, король не подслушал бы нашего разговора.

Филипп шагал с хмурым видом.

– Верно, верно, – подхватила Бланка, – ваш брат куда приятнее вас.

– Еще бы, ведь им не пренебрегают, и я от души рад за него, – ответил Филипп. – Вы правы, я глупец, ибо лишь глупец может позволить обращаться с собой как со слугой женщине, которая зовет его к себе, только когда ей вздумается поразвлечься, и отсылает прочь, когда желание проходит, которая неделями не подает признаков жизни, а при встрече даже не желает узнавать. Какую еще шутку она сыграет со мной?

Филипп д'Онэ, конюший его высочества графа Валуа, брата короля Франции, уже в течение трех лет был любовником Маргариты, старшей невестки Филиппа Красивого. И если он осмеливался так дерзко говорить о ней с Бланкой Бургундской, супругой Карла, младшего сына Филиппа Красивого, то лишь потому, что сама Бланка состояла в связи с его братом Готье д'Онэ, конюшим графа Пуатье. И если он осмеливался говорить таким образом в присутствии Жанны, графини Пуатье, то лишь потому, что Жанна, хотя сама до сих пор и не завела себе друга сердца, потакала, отчасти по слабости характера, отчасти развлечения ради, любовным интригам двух других невесток короля, устраивала их свидания, помогала встречам.

Итак, к описываемому нами времени, к ранней весне 1314 года, к тому самому дню, когда шел суд над тамплиерами и не было у короны заботы важней, из трех французских принцев двое – старший, Людовик, и младший, Карл, – стали рогоносцами благодаря двум конюшим, один из коих принадлежал к свите их дяди, другой – к свите их родного брата, и все это при благосклонном участии их невестки Жанны, верной супруги, но добровольной сводницы, втайне наслаждавшейся видом запретной любви.

Следовательно, те сведения, которые были доставлены английской королеве несколькими днями раньше, вполне отвечали истине.

– Во всяком случае, нынче вечером Нельская башня отменяется, – произнесла Бланка.

– Не вижу никакой разницы между сегодняшним вечером и всеми предыдущими, – возразил Филипп д'Онэ. – Я просто с ума схожу при мысли, что этой ночью Маргарита в объятиях Людовика Наваррского будет шептать те же слова…

– Ах, друг мой, это уж слишком, – высокомерно произнесла Жанна. – Только что вы обвиняли Маргариту, кстати без всякого основания, в том, что у нее есть другие любовники. А сейчас вы готовы лишить ее даже законного супруга. Вы просто забываете, кто вы и кто я, очевидно, вам вскружила голову моя снисходительность. Боюсь, что завтра мне придется посоветовать моему дяде отослать вас на несколько месяцев в графство Валуа, там в ваших охотничьих угодьях вы успокоитесь и одумаетесь.

Красавец Филипп сразу пришел в себя.

– О мадам, – пробормотал он. – Я ведь там умру.

Сейчас он казался еще очаровательнее, чем в гневе. Он опустил свои длинные шелковистые ресницы, изящно очерченный подбородок дрогнул – он был так красив, что стоило попугать его ради одного удовольствия видеть это милое выражение страха. Он вдруг стал таким несчастным, таким трогательным, что «бургундские сестры» пожалели его и улыбнулись, забыв недавние тревоги.

– Передайте вашему брату Готье, что нынче вечером я буду тосковать о нем, – сказала Бланка нежнейшим голоском.

И снова самый проницательный человек встал бы в тупик и не мог бы решить, говорит она правду или лжет.

– Может быть, стоит предупредить Маргариту, передать ей то, что мы узнали? – спросил нерешительно д'Онэ. – В том случае, если она собралась сегодня вечером…

– Пусть Бланка делает как знает, – ответила Жанна, – я не желаю больше вмешиваться в ваши дела. Рано или поздно все кончится печально, право же, не стоит компрометировать себя, и чего ради?

– Конечно, – подхватила Бланка, – ты не пользуешься благоприятными обстоятельствами, а ведь твой муж чаще всего бывает в отлучке. Вот если бы нам с Маргаритой так везло…

– Но у меня просто нет вкуса к таким вещам, – сказала Жанна.

– Вернее, нет достаточно храбрости, – кротко возразила Бланка.

– Ты права, если бы даже я и захотела солгать, мне все равно не удалось бы сделать это так ловко, как умеешь ты, сестрица, и уверяю вас, я бы немедленно выдала себя с головой.

Последние слова Жанна задумчиво растянула. Нет, ей действительно не хотелось обманывать своего супруга Филиппа Пуатье, но, с другой стороны, до смерти надоела эта репутация святоши и недотроги.

– Мадам, – обратился к ней Филипп, – не могли бы вы послать меня к вашей невестке с каким-нибудь поручением?

Жанна искоса взглянула на юношу и вдруг почувствовала себя растроганной.

– Неужели вы дня не можете прожить без вашей прекрасной Маргариты? – спросила она. – Так и быть, пошлю вас. Хотите, куплю в подарок Маргарите какую-нибудь безделушку, а вы отнесете ей? Но помните, это уже в последний раз.

Они подошли к прилавку. Пока дамы перебирали драгоценности, причем Бланку интересовали только самые дорогие вещи, Филипп д'Онэ вспоминал свою встречу с королем.

«Каждый раз, когда он меня видит, он осведомляется о моем имени, – думал Филипп. – По-моему, сегодня это было уже в десятый раз. И всегда вспоминает моего брата».

Его охватило неясное предчувствие беды, и он спрашивал себя, почему король внушает ему такой ужас. Без сомнения, причиной тому неестественно огромные, неподвижные глаза Филиппа, их странный, не поддающийся определению цвет – не то серый, не то бледно-голубой, похожий на поверхность озера, скованного льдом, сверкающим под лучами зимнего солнца, – глаза, которые врезаются в память и которые все еще видишь через много-много часов после встречи.

Ни «бургундские сестры», ни их кавалер не заметили высокого человека, почти великана, в охотничьем костюме, который стоял у соседнего прилавка; он с притворным жаром торговал золотую пряжку и уголком глаза следил за молодыми людьми. Человек этот был граф Робер Артуа.

– Филипп, у меня нет при себе денег. Заплатите, пожалуйста.

Голос Жанны вывел юношу из задумчивости. Он с восторгом исполнил ее просьбу. Жанна выбрала в подарок Маргарите шнур, свитый из золотых нитей.

– И мне такой же, – потребовала Бланка.

У Бланки тоже не оказалось денег, и за ее шнур тоже заплатить пришлось Филиппу. Это повторялось всякий раз, когда он сопровождал сестер на прогулке. Обе заверяли, что тут же вернут долг, но обе забывали о долге, а Филипп – слишком галантный кавалер – никогда им об этом не напоминал.

«Будь осторожен, сынок, – предупредил как-то сына мессир Готье д'Онэ. – Помни, что чем богаче женщина, тем она дороже нам обходится».

Филипп убедился в этом на собственном опыте. Но отнюдь не горевал по этому поводу. Д'Онэ были богаты, и их ленные владения Вемар и Онэ-ле-Бонди, лежавшие между Понтуазом и Люзаршем, приносили огромные доходы. Филипп старался уверить себя, что дружба со столь высокопоставленными особами принесет ему впоследствии и деньги, и почет. А сейчас, когда речь шла об удовлетворении страсти, даже золото не имело в его глазах никакой цены.

Он держал в руках драгоценный подарок – хороший предлог, чтобы проникнуть в Нельскую башню, по ту сторону реки, где жили король и королева Наваррские. Если пройти мостом Сен-Мишель, то можно быть там через десять минут.

Он откланялся принцессам и вышел из Гостиной галереи.

На звоннице собора Парижской Богоматери замолк бас колокола, и над островом Сите воцарилась необычная, тревожная тишина. Что же происходило там, в соборе?

Глава IV
Когда собор Парижской Богоматери был еще белым

Лучники, вытянувшись цепью, сдерживали напор толпы, рвущейся на паперть собора. Ко всем окнам жались любопытные лица.

Утренняя дымка разошлась, и бледные солнечные лучи робко скользили по белым каменным стенам собора. Ибо храм был достроен только семьдесят лет тому назад, и до сих пор его не переставали украшать и прихорашивать. Собор сохранил еще блеск новизны, и утренний свет подчеркивал линию стрелок свода, свободно проникал сквозь каменное кружево главной розетки, углубляя розоватые тени в нишах над колоннами, где дремала бесконечная вереница статуй.

По случаю суда с паперти прогнали поближе к домам торговца цыплятами, который неизменно являлся сюда по утрам со своей живностью.

Пронзительное кудахтанье пернатых пленниц раздирало тишину, ту гнетущую тишину, что так поразила Филиппа д'Онэ, когда он выбрался из Гостиной галереи. В воздухе летали перья и чуть не забивались в рот прохожих.

Впереди своих лучников в картинной позе замер капитан Ален де Парей.

На самых верхних ступенях лестницы, ведущей к паперти, стояли четыре тамплиера, спиной к толпе, лицом к церковному трибуналу, разместившемуся на пороге широко распахнутой двери главного входа. На скамьях позади стола расселись епископы, каноники, церковнослужители.

Любопытные показывали друг другу трех кардиналов, которых прислал сюда в качестве своих легатов папа Климент, дабы подчеркнуть, что вынесенный приговор не может быть ни обжалован, ни опротестован перед Святым престолом. Чаще других взгляды зрителей искали Жана де Мариньи, молодого архиепископа Санского, брата коадъютора, того, что самолично вел дело против тамплиеров, а также и брата Рено, исповедника короля и Великого инквизитора Франции.

Тридцать монахов, кто в коричневом, кто в белом облачении, толпились за спиной членов судилища. Среди собравшихся священнослужителей находился лишь один человек, не имевший духовного сана, – это был прево города Парижа по имени Жан Плуабуш, приземистый мужчина лет пятидесяти. Он сердито хмурился и, казалось, не испытывал особого восторга от столь блистательного соседства. Здесь он представлял светскую, королевскую власть, и в обязанность его входило поддерживать порядок. Его взгляд беспрерывно переходил от толпы к рядам лучников, выстроившихся под командой капитана, останавливался на молодом архиепископе Санском; по лицу прево нетрудно было догадаться о мучившей его мысли: «Лишь бы только все прошло гладко».

Солнечные лучи играли на золоченых митрах, на епископских посохах, на пурпуровых кардинальских одеяниях, на багрово-красных епископских одеяниях, пробегали по бархатным, отороченным горностаем коротким мантиям, отражались в наперсных крестах, в металлических кольчугах, золотили обнаженные клинки. Эта роскошная игра красок, эти яркие блики еще резче подчеркивали контраст между группой обвиняемых и пышным судилищем, собравшимся ради них, между судьями и четырьмя старыми, оборванными тамплиерами, которые стояли, прижавшись друг к другу, неразличимо серые, будто изваянные из пепла.

Первый папский легат кардинал-архиепископ д'Альбано стоя читал постановление суда. Читал медленно, приподнято-торжественным тоном; он упивался звуком собственного голоса, сиял от самодовольства, сиял от сознания, что выступает перед новой, чужеземной аудиторией. Он то испуганно открывал глаза, словно его ужасало даже простое перечисление совершенных

тамплиерами проступков, то величаво елейным тоном излагал суть какой-нибудь новой улики, нового злодеяния, перечислял новые отягчающие обстоятельства.

– …Заслушаны показания братьев Жеро дю Пасаж и Жана де Кюньи, кои утверждают, равно как и многие другие, что при принятии в орден тамплиеров их понуждали силой плевать на Святое распятие, ибо – как говорили им – сие есть лишь кусок дерева, а Господь Бог наш – на небесах… Заслушаны показания брата Ги Дофэна, заявившего, что высшая братия терзала его плоть, желая удовлетворить с ним похоть свою, понуждала его дать согласие исполнить то, что от него потребуют… Заслушаны показания главы ордена тамплиеров де Моле, каковой при допросе признал свою вину и сообщил, что…

Люди, теснившиеся вокруг паперти, с трудом улавливали смысл приговора, ибо легат говорил с сильным итальянским акцентом и слишком уж торжественным тоном. Словом, легат перестарался и затянул. Толпа начинала терять терпение…

Слушая обвинения, лжесвидетельства, признания, вырванные пыткой, Жак де Моле шептал:

– Ложь, ложь, ложь!..

Он так долго твердил это слово, так старательно выговаривал его, что из горла у него вырвался какой-то глухой звук, и тамплиеры удивленно оглянулись на своего магистра.

Гнев, охвативший Жака де Моле, еще когда их везли на повозке, не только не угас, но рос с каждой минутой. Жилки на ввалившихся висках бешено пульсировали.

Ничего не произошло, никто не прервал кошмара, и уже не вырвется из толпы зевак отряд бывших тамплиеров. Неумолим приговор судьбы.

Заслушаны показания брата Юга де Пейро, каковой сообщил, что неофиты обязаны были трижды отрекаться от Иисуса Христа…

Югом де Пейро звался брат генеральный досмотрщик.

Он обратил к Жаку де Моле искаженное ужасом лицо и пробормотал:

– Брат мой, брат мой, когда же я это говорил?

Четыре сановных тамплиера, покинутые Богом и людьми, чувствовали, что их словно зажало огромными тисками между толпой и судилищем, между королевской властью и властью Церкви. Каждое слово кардинала-легата сжимало тиски, и одной лишь смертью мог окончиться этот кошмар.

Как до сих пор не поняли допрашивающие, хоть им и объясняли сотни раз, что прозелитов обязывали пройти через обряд отречения, чтобы укрепить их дух на тот случай, если попадутся они в руки неверных мусульман, кои заставляют отрекаться от веры Христовой?

Великий магистр испытывал неистовое желание схватить прелата за глотку, надавать ему пощечин, сорвать с него митру и швырнуть ее наземь, задушить его; и только мысль о том, что при первом же движении его схватят, удерживала Моле на месте. Да и не только одного папского легата готов был он растерзать на части, но и молодого Мариньи, этого красавчика с золотыми побрякушками на голове, который со скучающим видом откинулся на спинку кресла. Но особенно ему хотелось добраться до трех своих отсутствующих врагов: до короля, хранителя печати и папы.

Бессильная ярость, что тяжелее железных цепей, застилала его взор, перед глазами плыл пурпуровый туман. И однако, должно же что-то произойти. Голова его кружилась, он боялся, что вот-вот рухнет на каменные плиты паперти. Он не замечал, что та же ярость охватила Шарне, что от рубца, пересекавшего багровый лоб приора Нормандии, вдруг отхлынула кровь.

А папский легат прервал на минуту свою напыщенную декламацию, опустил длинный пергаментный свиток, потом снова поднес его к глазам. Он старался продлить столь редкостный спектакль. Чтение обвинительного заключения было закончено, и легат приступил к чтению приговора.

– …Принимая во внимание, что обвиняемые признали и подтвердили свою вину, суд постановляет приговорить их к пребыванию меж четырех стен, дабы могли они искупить свои прегрешения слезами раскаяния. In nomine patris…[9]

Чтение закончилось. Легат медлил сесть на место, он стоя свернул пергаментный свиток и вручил его писцу.

Первое мгновение толпа недоуменно безмолвствовала. Из столь длинного перечня преступлений естественно вытекала смертная казнь, и приговор к «пребыванию меж четырех стен» – другими словами, к бессрочному заключению в темнице, в цепях, на хлебе и воде – поразил всех своим милосердием.

Филипп Красивый правильно рассчитал удар. Общественное мнение, огорошенное таким приговором, примет его как должное, примет как нечто будничное развязку трагедии, которая будоражила страну целых семь лет. Первый легат и молодой архиепископ Санский обменялись еле приметной понимающей улыбкой.

– Братья мои, братья мои, – заикаясь, бормотал брат досмотрщик, – так ли я расслышал? Значит, нас не убьют! Значит, нас помиловали!

Глаза его наполнились слезами; чудовищно распухшие руки тряслись, беззубый рот искривился, словно перед взрывом безудержного смеха.

Зрелище этой неправдоподобно страшной радости вывело толпу из оцепенения. С минуту Жак де Моле смотрел на полубезумное лицо брата досмотрщика и думал, что некогда этот человек был отважен духом и телом.

И вдруг с вершины лестницы прогремел голос:

– Протестую!

И так мощны были его раскаты, что в первое мгновение никто не поверил, что вырвался этот крик из груди Великого магистра.

– Протестую против несправедливого приговора и утверждаю, что все преступления, приписываемые нам, вымышлены от начала до конца! – кричал Жак де Моле.

Казалось, вся толпа разом глубоко вздохнула. Судьи заволновались, не зная, что делать. Кардиналы растерянно переглядывались. Никто не ожидал такого конца. Жан де Мариньи вскочил с кресла. Куда девался его скучающий вид, лицо его побледнело как полотно, он выпрямился и дрожал от гнева.

– Лжете! – прокричал он. – Вы сами признались перед комиссиями.

Лучники, не дожидаясь приказа, сдвинули ряды.

– Я виновен лишь в одном, что не устоял против ваших посулов, угроз и пыток. Утверждаю перед лицом Господа Бога, который внемлет нам, что орден, чьим Великим магистром я являюсь, ни в чем не повинен.

И казалось, Господь Бог действительно внял Великому магистру, ибо голос его, проникая под своды собора, отражался от стен его, эхом вырывался наружу, будто кто-то, незримо присутствующий в церковном приделе, повторял слова Жака де Моле нечеловечески мощным голосом.

– Вы признались в содомском грехе! – кричал Жан де Мариньи.

– Признался под пыткой, – отвечал Моле.

– …под пыткой, – повторял голос, исходивший, казалось, из самого алтаря.

– Вы признались, что проповедовали ересь!

– Признался под пыткой!

– …под пыткой, – эхом отозвалось из алтаря.

– Я отрицаю все! – крикнул Великий магистр.

– …все, – прогремели своды собора.

---

[9] Во имя отца… *(лат.)*

И вдруг раздался новый голос. Это заговорил Жоффруа де Шарне, приор Нормандии, который тоже обрушился на архиепископа Санского.

– Вы воспользовались нашей слабостью, – сказал он. – Мы пали жертвой вашего сговора, ваших ложных посулов. Нас погубили ваша ненависть и ваши обвинения! Но и я в свой черед свидетельствую перед лицом Господа моего: мы невиновны, и те, кто утверждает противное, свершает грех срамословия.

Поднялся невообразимый шум. Монахи, толпившиеся позади судилища, завопили во всю глотку:

– Еретики! На костер их! На костер еретиков!

Но крик потонул в общем гуле. Движимая чувством сострадания, которое так естественно охватывает народ при виде беззащитного, несчастного, но смелого человека, почти вся толпа приняла сторону тамплиеров.

Судьям грозили кулаками. На площади завязались драки. Из окон соседних домов доносились оскорбительные выкрики.

По приказу Алена де Парея часть лучников построилась цепью и, взявшись за руки, старалась удержать поток людей, грозивший затопить всю паперть и лестницу. Другая половина лучников, выставив пики, преградила путь толпе.

Королевские приставы, вооруженные жезлами с лилией на конце, раздавали удары направо и налево. В суматохе опрокинули клетки с курами, и птицы жалобно кудахтали под ногами бегущих.

Судьи в страхе вскочили с мест. Жан де Мариньи отвел в сторону прево города Парижа, чтобы посоветоваться с ним о происходившем.

– Принимайте любое решение, монсеньор, любое решение, – твердил прево, – только не оставляйте их здесь. Нас всех сметут. Вы не знаете, каковы парижане в гневе.

Жан де Мариньи простер руку, поднял свой епископский посох, желая показать, что хочет говорить. Но никто его не слушал. Со всех сторон неслась по его адресу оскорбительная брань.

– Мучитель! Лжеепископ! Господь тебя еще покарает!

– Говорите же, монсеньор, говорите, – торопил его прево.

Прево трясся за свое положение и за свою шкуру: в его памяти еще свежи были волнения 1306 года, когда парижане разгромили жилище его предшественника прево Барбе.

– Двое преступников вторично совершили преступление, вторично впали в ересь, – кричал архиепископ, тщетно напрягая свои голосовые связки. – Они усомнились в справедливости правосудия, церковь отвергает их и предает их в руки королевского суда.

Слова его потонули в вое толпы. Потом все судилище в полном составе, как стая испуганных цесарок, постепенно отступило под своды собора Парижской Богоматери, и церковные врата захлопнулись за ними.

По знаку прево Ален де Парей и группа лучников бросились к собору; подкатила повозка, в нее втолкнули подсудимых, подгоняя их тупыми концами пик. Они подчинились насилию с величайшей покорностью. Великий магистр и приор Нормандии лишились последних сил, но в то же время испытывали облегчение. Наконец-то совесть их была спокойна. Оба их спутника так ничего и не поняли. Лучники шли впереди, прокладывая путь печальному кортежу, прево Плуабуш приказал стражникам спешно очистить площадь. Он метался в растерянности, не зная, на что решиться.

– Отвезите узников в Тампль, – крикнул прево Алену де Парею, – я бегу сообщить королю.

Он велел четырем стражникам следовать за ним в качестве телохранителей.

Глава V
Маргарита Бургундская, королева Наварры

Тем временем Филипп д'Онэ добрался до Нельского отеля. Его попросили обождать в прихожей перед личными покоями королевы Наваррской.

Минуты тянулись бесконечно долго. Филипп пытался найти объяснение столь длительному ожиданию – вызвано оно какими-нибудь непредвиденными обстоятельствами или королеве просто нравится его мучить. Очень на нее похоже. Продержат час, а потом объявят, что королева не изволит, мол, его сегодня принять. Он был вне себя. Когда началась их связь, Маргарита обходилась с ним не так. А может быть, и так. Он уже не помнил теперь. Разве в те полные очарования дни, когда он очертя голову пустился на поиски приключений, сам не зная, где начинается любовь и где кончается тщеславие, разве не выстаивал он по пяти часов кряду, лишь бы увидеть свою госпожу, коснуться ее платья кончиками пальцев, услышать назначенное торопливым шепотом свидание.

Времена изменились. Те препятствия, что придают особую прелесть рождающейся любви, становятся тяжкой обузой для любви, уже насчитывающей за собой три долгих года, и нередко ее убивает как раз то, что вызвало на свет. Не быть ни на минуту уверенным во встрече, десятки раз слышать об отмене назначенного свидания, нести бремя придворных обязанностей, так часто мешающих встречам, терпеть причуды и капризы Маргариты – все это доводило Филиппа до отчаяния, и в гневе он клялся жестоко отомстить коварной.

А Маргариту, казалось, такое положение вполне устраивало. Она вкушала двойную усладу – обманывать мужа и терзать любовника. Недаром принадлежала она к той породе женщин, которые испытывают влечение к мужчине, лишь видя, как он страдает по их вине, пока сами первые не пресытятся зрелищем этих страданий.

Каждый день Филипп твердил себе, что настоящая любовь не может удовлетворяться случайными встречами, каждый день давал себе слово завтра же порвать с мучительницей.

Но он был слаб, малодушен, а главное, покорен бесповоротно. Подобно игроку, которого затягивает поставленная ставка, Филиппа держали в заколдованном кругу его былые мечты, его напрасные подарки, растраченное даром время, его ушедшее счастье. У него не хватало мужества встать из-за стола и твердо заявить: «Я и так уже проигрался в пух».

И вот он стоит в прихожей, прислонясь к косяку окна, и ждет – ждет, когда его наконец соблаговолят впустить. Чтобы обмануть нетерпение, он глядел во двор, где суетились конюхи, собираясь поводить лошадей по маленькой лужайке Пре-о-Клер, глядел, как распахиваются ворота, как слуги выносят мясные туши и корзины овощей.

Нельский отель состоял из двух отдельных строений: из самого отеля, построенного относительно недавно, и из башни, которую возвели при Филиппе-Августе под пару Луврской башне, украшавшей левый берег Сены еще в те времена, когда здесь проходил крепостной вал. Шесть лет назад Филипп Красивый купил отель и башню у графа Амори де Неля[10] и пожаловал ее в качестве резиденции своему старшему сыну, королю Наваррскому.

Сначала башня служила помещением для кордегардии и кладовой. Однако Маргарита приказала привести башню в порядок, чтобы иметь возможность – как заявила она – поси-

---

[10] *…Филипп Красивый купил отель и башню у графа Амори де Неля…* – Нельская башня, называвшаяся сначала башней Амлен по имени парижского прево, который ведал ее постройкой, и Нельский дворец занимали место современного Института Франции и Монетного двора. Его сад на западе был ограничен крепостной стеной Филиппа Августа, рвы которой в этой части назывались «Нельскими рвами» и позже послужили наброском для улицы Мазарини. Ансамбль делился на Большой Нель, Малый Нель и Нельские палаты; позже на месте комплекса выросли особняки Невер, Генего, Конти, Монне. Башню снесли только в 1663 г., чтобы не мешала строительству коллежа Мазарини (или коллежа Четырех наций), присоединенного в 1805 г. к Институту Франции.

деть одной, поразмыслить, почитать молитвенник, полюбоваться мирным течением реки. Она утверждала, что ей просто необходимо одиночество, и Людовик Наваррский, зная сумасбродный нрав своей супруги, ничуть не удивился ее прихоти. На самом же деле ей требовалось надежное помещение, чтобы без помех принимать там красавца д'Онэ.

Обстоятельство это наполняло душу Филиппа непомерной гордыней. Ради него королева Наваррская велела превратить крепость в приют любви.

А потом, когда его старший брат Готье д'Онэ сделался любовником Бланки, башня стала служить тайным убежищем и для этой молодой четы. Найти благовидный предлог не составляло труда: что удивительного, если Бланка приходит с визитом к своей невестке? Маргарита охотно оказывала ей услуги подобного рода.

Но сейчас, когда Филипп глядел на огромную мрачную башню, каменной громадой возвышавшуюся над рекой, на ее островерхую крышу, узенькие продолговатые окна, он невольно спрашивал себя: а что, если и другие мужчины знали эти быстрые объятия, а может быть, и эти бурные ночи… Даже тот, кто полагал, что насквозь видит Маргариту, и то подчас становился в тупик. А эти пять дней, в течение которых она не давала о себе знать, хотя ничто, казалось бы, не мешало свиданию, разве не были они еще одним лишним доказательством?..

Дверь распахнулась, и камеристка пригласила Филиппа следовать за ней. Грудь у него сжимало как тисками, губы пересохли, но он твердо решил на сей раз не дать себя провести. Когда они дошли до конца длинного коридора и камеристка исчезла, Филипп вошел в длинную низкую опочивальню, тесно заставленную мебелью, всю пропитанную резким ароматом, таким знакомым ароматом жасминовой эссенции, доставляемой купцами с Востока.

Филипп не сразу освоился в этой чересчур сильно натопленной и полутемной комнате. В огромном камине на груде багровых углей пылало целое дерево.

– Мадам… – проговорил Филипп.

Голос, идущий из глубины комнаты, немного хриплый, как бы спросонья, приказал:

– Приблизьтесь, мессир.

Неужели Маргарита была одна? Неужели она осмелилась принимать его в своей опочивальне, без посторонних свидетелей, когда король Наваррский мог находиться поблизости?

И тут же Филипп успокоился, хотя почувствовал горькое разочарование: само собой разумеется, королева Наваррская была не одна. Маргарита лежала в постели, а рядом с ней, полускрытая складками балдахина, сидела на низеньком табурете пожилая придворная дама и осторожно подстригала королеве ногти на ногах.

Филипп сделал шаг вперед и тоном опытного царедворца, противоречившим отчаянному выражению его лица, почтительно сказал, что графиня Пуатье прислала его справиться о здоровье королевы Наваррской, шлет ей поклон и посылает подарок.

Во время его речи Маргарита не пошевелилась, не сказала ни слова. Она сцепила на затылке пальцы своих прекрасных рук и, полузакрыв глаза, слушала Филиппа.

Была она маленькая, черноволосая, со смугло-золотистой кожей. Говорили, что у нее самое прекрасное на свете тело, и она отлично знала это.

Филипп не отрываясь смотрел на этот пухлый, чувственный рот, на этот точеный подбородок, на эту полуобнаженную грудь, на эти стройные округлые ноги, с которых придворная дама откинула одеяло.

– Положите подарок на стол, я сейчас посмотрю, – сказала Маргарита.

Она потянулась, зевнула, и Филипп успел разглядеть ее розовый язычок, нёбо и крохотные белые зубки; зевала Маргарита, как котенок.

Ни разу она не взглянула в сторону Филиппа. А он еле удерживался, чтобы не вспылить. Придворная дама исподтишка, но с любопытством наблюдала за ним, и Филипп подумал, что любое гневное движение выдаст его с головой. Этой придворной дамы он еще никогда не видел. Может быть, Маргарита лишь недавно взяла ее к себе?..

– Должен ли я, – начал он, – отнести ответ графине…

– Ой! – вдруг вскрикнула Маргарита, садясь в постели. – Вы меня оцарапали, милочка.

Придворная дама пробормотала извинение. Тут только Маргарита в первый раз удостоила Филиппа взглядом. У нее были восхитительные глаза, темные, бархатистые, они умели ласкать вещи и людей.

– Передайте моей невестке Пуатье… – произнесла она.

Филипп сделал полшага вперед, желая укрыться от бдительного ока придворной дамы. Он раздраженно махнул рукой, и жест его означал: «Прогоните старуху». Но Маргарита, казалось, ничего не поняла: она улыбалась, но не Филиппу, она улыбалась, глядя пустыми глазами в угол комнаты.

– Нет, не надо, – продолжала она. – Я сейчас напишу ей записку и передам через вас.

Потом обратилась к придворной даме:

– Теперь хорошо. Пора одеваться. Подите приготовьте мне платье.

Старуха вышла в соседнюю комнату, но двери за собой не закрыла, и Филипп снова поймал ее взгляд, устремленный прямо на него.

Маргарита встала с постели, прошла мимо Филиппа и, не разжимая губ, прошептала:

– Люблю!

– А почему мы не виделись пять дней? – спросил он тоже шепотом.

– Какая прелесть, – воскликнула Маргарита, вертя в руках шнур. – У Жанны бездна вкуса, и как я рада ее подарку.

– Почему ты не хотела меня видеть? – шепнул Филипп.

– Шнур прямо-таки создан для моего нового кошелька, – продолжала Маргарита громко. – Мессир д'Онэ, вы можете подождать, пока я напишу письмо?

Она присела к столу, взяла гусиное перо, клочок бумаги[11] и сделала Филиппу знак приблизиться.

Крупными буквами, так что Филипп мог прочесть их из-за ее плеча, Маргарита написала: «Осторожность».

Потом, обратившись к придворной даме, которая возилась в соседней комнате, Маргарита крикнула:

– Мадам де Комменж, приведите ко мне мою дочку – я еще не поцеловала ее нынче утром.

Придворная дама удалилась.

– Лжешь, – сказал Филипп. – Осторожность – прекрасный предлог, чтобы отделаться от старых любовников и обзавестись новыми.

Не то чтобы Маргарита лгала, но она не сказала и правды. Обычно случается так, что к концу связи, когда любовники начинают искать ссоры или устали, они обязательно выдают свою тайну свету, и свет впервые обнаруживает то, что уже приходит к финалу. Возможно, что сама Маргарита случайно обмолвилась, возможно, что слух о гневных выходках Филиппа просочился за пределы узкого кружка, состоявшего из Бланки и Жанны. В привратнике и камеристке, находящихся при ее покоях в башне, в двух этих слугах, привезенных еще из Бургундии, которых Маргарита запугивала и одновременно осыпала золотом, она была уверена, как в самой себе. Но как знать? Маргарита чувствовала, что ей не совсем верят. Король Наваррский не раз намекал на ее победы, и внешне безобидные шутки мужа звучали несколько принужденно. К тому же эта новая придворная дама, эта мадам де Комменж, которую ей навязали

---

[11] *…взяла гусиное перо, клочок бумаги…* – Хлопковая бумага, которую считают китайским изобретением, называвшаяся сначала «греческим пергаментом», потому что венецианцы познакомились с ней в Греции, появилась в Европе в конце X в. Льняная или тряпичная бумага была завезена с Востока чуть позже испанскими сарацинами. Первые бумажные фабрики появились в Европе в XIII в. Поскольку бумага уступала по прочности и долговечности пергаменту, она никогда не использовалась для официальных документов, которые должны были выдерживать «подвесные печати».

неделю назад, чтобы угодить рекомендовавшему ее графу Карлу Валуа, и которая повсюду шныряет в своем вдовьем покрывале… И Маргарита уже не так охотно, как прежде, шла на риск.

– Вы просто несносны! – воскликнула она. – Вас любят, а вы ворчите с утра до ночи.

– Ну что ж, нынче вечером мне не представится случая докучать вам, – ответил Филипп. – Совета сегодня не будет, король нам сам об этом сказал, и вы можете сколько душе угодно успокаивать подозрения вашего супруга.

Маргарита скорчила гримаску, и, будь Филипп не так ослеплен гневом, он понял бы, что по крайней мере с этой стороны ему не грозит опасность.

– А я решил пойти к девицам, – добавил он.

– Вот и прекрасно, – отозвалась Маргарита. – Вы мне расскажете потом, каковы они. Я с удовольствием послушаю.

В глазах ее вспыхнул огонек, кончиком языка она насмешливо облизала губы.

«Распутница, шлюха! – яростно твердил про себя Филипп. – Не знаешь, как к ней подступиться: ускользает, уходит, как вода из пригоршни».

Маргарита подошла к открытому ларцу, достала из него новый кошель, сплетенный из золотых нитей и закрывающийся на три огромных рубина, – этой вещи Филипп еще ни разу не видел.

Позавчера Маргарита получила кошель в дар от своей золовки Изабеллы Английской; с той же тайной оказией точно такие кошели были вручены Жанне и Бланке. Изабелла просила своих невесток не болтать об этом подарке, ибо, писала английская королева, «супруг мой Эдуард зорко следит за моими тратами, и боюсь, как бы он не рассердился». Принцессы от души удивились столь непривычной любезности со стороны своей золовки. «У нее нелады с мужем, – решили они, – вот она и ищет сближения с нами».

– Чудесно подойдет, – продолжала Маргарита, пропуская шнурок сквозь кольца кошеля, и, повязав шнур вокруг талии, подошла полюбоваться своим отражением в большом оловянном зеркале.

– Откуда у тебя этот кошель? – спросил Филипп.

– Это…

Маргарита чуть было не сказала правду. Но, увидев его перекошенное ревностью лицо, не могла отказать себе в удовольствии помучить возлюбленного.

– Подарили, – отрезала она.

– Кто?

– Угадай.

– Людовик?

– Ну, мой муж на такую щедрость не способен.

– Тогда кто же?

– Угадай.

– Я хочу знать, я имею право знать, – не сдержавшись, воскликнул Филипп. – Подобную вещь может подарить только мужчина, мужчина богатый, и притом влюбленный… думаю, что у него есть основания делать такие подарки.

Маргарита молча вертелась перед зеркалом, она прикладывала кошель то к правому боку, то к левому и наконец передвинула его на середину пояса.

– Это подарок Робера Артуа, – произнес Филипп.

– Ну, мессир, я никогда, если не ошибаюсь, не давала вам поводов подозревать меня в столь дурном вкусе, – возразила Маргарита. – Этот-то верзила, грубиян, от которого разит дичью…

Ни Маргарита, ни Филипп даже не представляли, насколько его слова были близки к истине и какую зловещую роль сыграл Робер Артуа в небывалой щедрости королевы Англии.

– Значит, это Гоше де Шатийон, который волочится за вами, как, впрочем, и за всеми дамами? – начал Филипп.

Маргарита с задумчивым видом склонила набок головку.

– Вы имеете в виду коннетабля? – переспросила она. – Я не замечала, чтобы он мной интересовался. Но поскольку вы сами утверждаете… Что ж, спасибо, что вы навели меня на эту мысль…

– Все равно я узнаю…

– Перебрав весь французский двор.

Ей хотелось добавить: «Не забудьте также и английский двор», но в эту минуту в опочивальню вошла мадам де Комменж, осторожно ведя перед собой малютку. Малолетняя принцесса Жанна медленно переступала ножками, путаясь в длинном бархатном платьице, расшитом жемчугом. От матери она унаследовала только выпуклый, круглый, упрямый лоб. У девочки были белокурые волосики, тоненький носик и длинные ресницы, красиво затенявшие светлые глаза. Она могла быть и дочерью короля Наваррского, и дочерью Филиппа д'Онэ. Но и тут Филипп никак не мог добиться у Маргариты прямого ответа, ибо королева Наваррская была слишком хитра, чтобы дать любовнику козырь в таком щекотливом вопросе. Всякий раз, глядя на крошку Жанну, Филипп спрашивал себя: «А вдруг она моя дочь?» И он уже видел, как ему придется когда-нибудь, почтительно склонившись, выслушивать приказания принцессы, которая, возможно, была его собственной дочерью и которая, возможно, взойдет разом на два престола. Ибо Людовик Наваррский, наследный принц Франции, и супруга его Маргарита не имели больше детей.

Маргарита подхватила на руки маленькую Жанну, поцеловала ее в лобик и, убедившись, что девочка хорошо выглядит, передала ее придворной даме со словами:

– Ну вот я ее и поцеловала, теперь можете ее увести.

Мадам де Комменж искоса взглянула на королеву, и Маргарита поняла, что придворная дама отлично знает, почему ее посылали за девочкой и почему ее тут же удаляют. «Необходимо поскорее избавиться от этой старухи», – подумала Маргарита.

В это мгновение в спальню вихрем ворвалась другая придворная дама и осведомилась, не здесь ли находится король Наваррский.

– Вы же знаете, что в этот час его надо искать не у меня, – заметила Маргарита.

– Его повсюду разыскивают, – сказала придворная дама. – Король требует его немедленно к себе. Во дворце сейчас состоится чрезвычайный Совет.

– А по какому поводу? – полюбопытствовала Маргарита.

– Кажется, мадам, по поводу тамплиеров, они отвергли приговор. У собора Парижской Богоматери волнуется народ, повсюду выставлена двойная стража.

Маргарита и Филипп переглянулись. Одна и та же мысль одновременно пришла им в голову, мысль, не имевшая ничего общего с государственными соображениями. Возможно, обстоятельства сложатся так, что Людовику Наваррскому придется провести в Совете почти всю ночь.

– Может статься, что нынешний день закончится не так, как предполагалось, – заметил Филипп.

Маргарита вскинула на него глаза, она решила, что достаточно помучила Филиппа. Он стоял пред ней с обычным своим почтительно-равнодушным видом, но взгляд его молил о счастье. Этот взгляд растрогал Маргариту. Она почувствовала, что любит его так же сильно, как в первые дни их связи.

– Возможно, вы правы, мессир, – бросила она.

Вдруг она поняла, что никто не любит и не будет любить ее сильнее и преданнее, чем Филипп.

Маргарита схватила клочок бумаги, на котором написала слово «осторожность», и бросила его в огонь.

– Я раздумала посылать записку графине Пуатье, – сказала она. – Позже пошлю другую: надеюсь, что смогу сообщить ей более приятные вести. Прощайте, мессир.

Тот Филипп, что вышел из Нельского отеля, ничуть не напоминал того Филиппа, который вошел сюда несколько часов назад. Одного обнадеживающего слова оказалось достаточно, чтобы он снова поверил своей подруге, поверил в самого себя, поверил в жизнь, и серенькое мартовское небо заблистало для него лучами солнца.

«Она меня по-прежнему любит, я несправедлив к ней», – думал он.

Проходя через помещение кордегардии, Филипп нос к носу столкнулся с графом Артуа. Со стороны могло показаться, что великан выслеживает Филиппа, как охотник добычу. Но это было не так. На сей раз Артуа заботило совсем иное.

– Его высочество король Наваррский у себя? – спросил он Филиппа.

– Я слышал, что его ищут для участия в Королевском совете, – ответил Филипп.

– Вас послали известить его?

– Да, – не подумав, ответил Филипп.

И тут же он упрекнул себя за эту бессмысленную ложь, которую ничего не стоило раскрыть.

– И я ищу его с той же целью, – объяснил Артуа. – Его высочество Валуа желает переговорить с ним до начала Совета.

Они расстались. Но эта случайная встреча насторожила гиганта Робера. «Уж не он ли?» – вдруг подумал Артуа, пересекая двор. Час назад он видел Филиппа в Гостиной галерее вместе с Жанной и Бланкой. А теперь встретил его у порога опочивальни Маргариты. «Какую роль играет этот щеголь – роль вестника или состоит любовником при всех троих? Так или иначе, в скором времени я все узнаю».

Робер Артуа не потерял зря времени после своего возвращения из Англии. Каждый вечер он виделся с мадам де Комменж, поступившей в услужение к Маргарите, и из ее рук получал самые подробные сведения. А у Нельской башни поставил верного человека и поручил ему следить в ночные часы за всеми входами и выходами. Силки были расставлены по всем правилам. Если этот павлин попадется, пусть пеняет на себя!

Глава VI
Как происходил Королевский совет

Когда прево города Парижа, запыхавшись, прибежал к королю, он застал своего повелителя в добром расположении духа. Филипп Красивый играл с тремя прекрасными борзыми, которых ему только что прислали в сопровождении следующего послания:

> *Сир,*
>
> *племянник мой, в отчаянии от предерзостного своего проступка, сообщил мне, что эти три борзые, коих он вел на сворке, осмелились толкнуть Вас. Сколь бы ни были недостойны эти твари быть преподнесенными Вам в дар, но еще менее достоин я сам владеть ими, после того как коснулись они столь высокой и могущественной особы. Позавчера их прислали мне прямо из Англии. Молю Вас принять их, дабы могли они послужить свидетельством нижайшей преданности Вашего покорного слуги*
>
> *Спинелло Толомеи.*

– Ну и ловкий же человек этот Толомеи, – усмехнулся Филипп Красивый.

Он, который отказывался от любых приносимых даров, не смог устоять перед искушением и взял борзых. Псарня короля Франции по справедливости считалась лучшей в мире, и Толомеи польстил единственной королевской страсти, прислав во дворец таких изумительных по красоте и стати псов.

Пока прево докладывал о событиях, разыгравшихся у собора Парижской Богоматери, король ласкал своих новых питомцев, подымал им брыли, чтобы проверить крепость их белых огромных клыков, осматривал их черные пасти, ощупывал их могучую грудь.

Между королем и животными, и особенно собаками, сразу же устанавливалось тайное и молчаливое согласие. В отличие от людей собаки ничуть его не боялись. И теперь самая крупная из только что введенных в королевские покои борзых, положив морду на колени Филиппа, глядела не отрываясь на нового своего господина.

– Бувилль! – крикнул Филипп Красивый.

Юг де Бувилль, первый королевский камергер, мужчина лет пятидесяти, немедленно явился на зов; волосы его поседели неравномерно – белые пряди самым странным образом перемешались с черными, и поэтому он казался пегим.

– Бувилль, немедленно соберите Малый совет! – приказал Филипп.

Кивком головы отпустив прево и дав ему предварительно понять, что, ежели в Париже произойдут беспорядки, он, прево, поплатится за это своей головой, король остался один со своими псами и своими мыслями.

Самую крупную борзую, которая, видимо, уже успела привязаться к нему, Филипп решил назвать Ломбардцем – в честь ее бывшего владельца, итальянского банкира.

На сей раз Малый совет собрался не как обычно в зале, где творили суд, – в этой просторной зале легко помещалась сотня людей, и там происходили заседания Большого совета. Присутствующие сошлись сегодня в небольшую приемную; в камине жарко пылал огонь.

Вокруг длинного стола уже разместились члены Малого совета, долженствующего решить участь тамплиеров. Король восседал на верхнем конце стола; опершись о подлокотник кресла, он задумчиво подпер подбородок ладонью. По правую его руку поместились Ангерран де Мариньи, коадъютор и правитель королевства, Ногаре, хранитель печати, Рауль де Прель, глава Верховного судилища, и два легиста, исполнявшие обязанности писцов; по левую руку короля сидел его старший сын Людовик, король Наваррский, которого наконец удалось разыскать, и Юг де Бувилль, первый королевский камергер. Только два места оставались незаня-

тыми: одно, предназначавшееся для графа Пуатье, посланного в провинцию по делам королевства, и другое – для принца Карла, младшего сына Филиппа, который еще с утра уехал на охоту и которого так и не сумели найти. Не явился также и его высочество Валуа: за ним уже послали гонца, но он медлил с приходом, ибо имел обыкновение перед каждым Советом придумывать новые козни. Король решил приступить к делу, не дожидаясь Валуа.

Первым заговорил Ангерран де Мариньи. Сиятельный этот вельможа, на шесть лет старше короля, ниже его ростом, но обладавший столь же внушительной осанкой, был отнюдь не благородного происхождения. Этот нормандский горожанин, прежде чем стать сиром де Мариньи, назывался просто Ангерраном Ле Портье; его блистательная карьера вызывала всеобщую зависть, равно как и титул коадъютора, изобретенный специально для него, благодаря которому он стал alter ego[12] короля. Пятидесятидвухлетний Ангерран де Мариньи, грузный мужчина с массивной нижней челюстью и нечистой кожей, приобрел огромное состояние, на которое и жил с истинно королевской роскошью. Он слыл первым ритором Франции и как государственный ум был намного выше своего времени.

В нескольких словах он набросал перед присутствующими полную картину происшествия на паперти собора Парижской Богоматери, пользуясь сведениями, доставленными его младшим братом архиепископом Санским.

– Великий магистр и приор Нормандии переданы церковной комиссией в руки вашего величества, – заключил он. – За вами право принимать любые решения. Будем надеяться, что все идет к лучшему…

Не успел он договорить начатой фразы, как распахнулась дверь. В приемную бурно ворвался его высочество Валуа, брат короля и император Константинопольский. Не удосужившись даже спросить, о чем идет речь, он закричал еще с порога:

– Что я слышу, брат мой? Мессир Ле Портье де Мариньи, – (слово «Ле Портье» он произнес с особым ударением), – считает, что все идет хорошо? Что ж, брат мой, ваши советники довольствуются малым. Хотел бы я знать, когда же, по их мнению, будет плохо?

Казалось, что с приходом Карла Валуа даже сам воздух в приемной пришел в движение. Когда он шагал, вокруг него зарождались вихри. Он был на два года моложе Филиппа, ничем на него не походил, и ледяное спокойствие старшего брата еще резче подчеркивало суетливость младшего.

Порядком облысевший, с толстым носом, с красными прожилками на пухлых щеках – следствие суровой походной жизни и излишнего чревоугодия, – он горделиво носил свое округлое брюшко, одевался с чисто восточной пышностью, которая показалась бы неуместной у любого другого француза. Рожденный в столь непосредственной близости к французскому престолу, этот принц-смутьян никак не мог примириться с мыслью, что трон ускользнул от него, и исколесил весь белый свет в поисках свободного престола. Сначала он носил титул короля Арагонского, но вскоре отказался от этого королевства и всеми правдами и неправдами старался добыть корону императора Священной Римской империи, однако на выборах провалился. По второму браку с Катрин де Куртене он получил титул императора Константинопольского, но в Византии правил настоящий император Константинопольский – Андроник II Палеолог. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Свою славу Карл заслужил на поле брани, ибо был искусным военачальником – он участвовал в молниеносном походе в Гиень в девяносто седьмом году, во время Тосканской кампании поддерживал гвельфов против гибеллинов, опустошил Флоренцию и выслал за пределы республики некоего рифмоплета, писавшего стихи политического содержания и именовавшегося Данте, за что предшественник нынешнего папы Климента дал ему титул графа Романьи. Валуа, как и король, имел собственный двор и своего собственного канцлера; он лютой ненавистью ненавидел Ангеррана де

[12] Второе «я» *(лат.)*.

Мариньи, ненавидел за то, что тот поднялся из низов, за его коадъюторское достоинство, за статую, воздвигнутую ему среди статуй коронованных особ, украшавших Гостиную галерею, за его политику, враждебную крупным феодалам, – словом, за все. Он, Валуа, внук Людовика Святого, не мог перенести мысли, что королевством управляет человек, вышедший из народа. На Малый совет он явился весь в голубом, от головы до пят, и от пят до головы был весь расшит золотом.

– Четыре еле живых старца, – продолжал он, – по поводу которых нас уверяли, что судьба их решена… увы, как решена!.. подрывают королевский авторитет – и все идет к лучшему! Народ плюет на церковный суд… Впрочем, хорош суд! Но как бы то ни было, ведь это же церковный суд!.. И все идет к лучшему! Толпа требует смерти, но не их смерти, брат мой, – и все идет к лучшему! Что ж, пусть будет так, брат мой, пусть все идет к лучшему.

Он воздел к небесам свои красивые, унизанные перстнями руки и уселся на нижнем конце стола, как бы желая лишний раз показать, что если он не имеет права сидеть одесную короля, то сидеть напротив короля никто ему не запретит.

Ангерран де Мариньи по-прежнему стоял у стола. По губам его пробежала чуть заметная насмешливая улыбка.

– Его высочество Валуа, должно быть, плохо осведомлен, – спокойно произнес он. – Из четырех старцев, о которых он говорил, лишь двое отвергли приговор. А что касается народа, то, судя по имеющимся у меня сведениям, мнения там разделились.

– Разделились! – воскликнул Карл Валуа. – Кому это интересно? Кому надо, чтобы народ вообще имел свое мнение? Только вам, мессир де Мариньи, и по вполне понятным причинам. Полюбуйтесь, какие плоды принесла ваша прелестная выдумка – собирать горожан, мужичье, деревенщину, для того чтобы они, видите ли, одобряли решения короля! Что же удивительного, если народ вообразил, что ему все дозволено?

В каждую эпоху и в каждой стране всегда имеются две партии: партия реакции и партия прогресса. На Малом королевском совете столкнулись два этих течения. Карл Валуа считал себя прирожденным главой крупных вассалов. Он олицетворял собой незыблемость прошлого, и политическое его евангелие держалось на полудюжине принципов, кои он защищал с пеной у рта: право сеньоров вести между собой войны, право ленных властителей чеканить на своих землях собственную монету, возвращение к моральному кодексу рыцарства, безоговорочное подчинение папскому престолу как высшей третейской власти, безоговорочная поддержка всех социальных институтов феодализма. Все эти установления создались и вылились в определенную форму в течение предыдущих веков, но часть их Филипп Красивый по совету Мариньи упразднил, а против остальных вел упорную борьбу.

Ангерран де Мариньи представлял партию прогресса. Основные его идеи сводились к централизации власти, унификации денег, созданию единой администрации, независимости светской власти от Церкви, обеспечению мира на границах государства, достигаемого возведением крепостей с постоянным гарнизоном, и мира внутри государства, достигаемого полным подчинением королевской власти; наконец – процветание ремесел, расширение торговых связей, безопасность торговых путей; эти его замыслы носили название «новые порядки». Однако медаль имела оборотную сторону: содержание многочисленной стражи обходилось дорого, и столь же дорого обходилась постройка крепостей.

Отринутый феодальной партией, Ангерран постарался дать королю новую опору в лице сословия, которое одновременно со своим усилением все яснее осознавало свою роль, – сословия богатых горожан. Пользуясь любым благоприятным случаем – отменой налогов или же делом тамплиеров, он десятки раз созывал парижских горожан в королевском дворце в Сите. Точно так же действовал он и в провинциальных городах. Перед глазами он имел пример Англии, где уже функционировала палата общин.

Пока еще не могло быть и речи о том, чтобы малые ассамблеи французских горожан осмелились обсуждать королевские начинания: им лишь сообщались причины, по которым король принимал то или иное решение, и предоставлялось право безоговорочно таковые одобрить[13].

Хотя Валуа был отъявленным смутьяном, никто бы не упрекнул его в недостатке ума. Он пользовался любым предлогом, лишь бы опорочить действия Мариньи. Тайная борьба, шедшая до поры до времени подспудно, вдруг несколько месяцев назад стала явной, и ссора на Малом королевском совете, состоявшемся 18 марта, была лишь одним из ее эпизодов.

Яростный спор разгорелся с новой силой, и взаимные оскорбления звучали как пощечины.

– Если бы высокородные бароны, среди коих самым знатным являетесь вы, ваше высочество, – начал Мариньи, – если бы они подчинялись королевским ордонансам, нам не было бы нужды опираться на народ.

– Нечего сказать, прекрасная опора! – воскликнул Валуа. – Неужели волнения тысяча триста шестого года, когда король да и вы сами вынуждены были укрыться в Тампле, за стенами которого бунтовал Париж, неужели даже это не послужило вам хорошим уроком? Предсказываю вам: если так пойдет дальше, горожане будут править сами, не нуждаясь больше в короле, и ордонансы будут исходить не от кого другого, как от ваших обожаемых ассамблей.

В продолжение всего этого спора король упорно молчал, он сидел, подперев подбородок рукой, неподвижно глядя перед собой широко открытыми глазами. Король никогда не моргал, и свойство это делало его взгляд столь странным, что каждый невольно испытывал страх.

Мариньи повернулся к королю, всем своим видом приглашая его вмешаться и положить конец бесполезному спору.

Приподняв голову, Филипп сказал:

– Брат мой, ведь сегодня мы обсуждаем совсем другой вопрос – вопрос о тамплиерах.

– Пусть будет так, – согласился Валуа, хлопнув кулаком по столу. – Займемся тамплиерами.

– Ногаре, – вполголоса произнес король.

Хранитель печати поднялся с места. С первых же минут он стал задыхаться от ярости, которая ждала только подходящего случая, дабы излиться наружу. Фанатичный защитник общественного блага и государственных интересов, он считал дело тамплиеров своим личным делом и вносил в него ту страсть, которая не знает ни сна, ни отдыха, ни границ. Впрочем, высоким своим положением Ногаре был обязан именно этому процессу, ибо во время трагического заседания Совета в 1307 году тогдашний королевский хранитель печати архиепископ Нарбоннский отказался скрепить ордер на арест тамплиеров, и король, взяв печать из недостойных рук, вручил ее тут же Ногаре. Костистый, черномазый, с вытянутым длинным лицом и близко посаженными глазами, он все время нервически перебирал пуговицы полукафтана или же сосредоточенно грыз свои плоские ногти. Он был страстен, суров, жесток, как коса в руках смерти.

– Сир, произошло чудовищное, ужасное событие, о котором страшно подумать, страшно даже слышать, – заговорил он скороговоркой, но приподнятым тоном, – оно свидетельствует о том, что всякое милосердие, всякое снисхождение к этим пособникам дьявола есть слабость, и слабость эта обращается против нас.

---

[13] *…и предоставлялось право безоговорочно таковые одобрить*. – Благодаря таким ассамблеям, учрежденным Филиппом Красивым, французские короли обрели привычку прибегать к помощи национальных советов, которые впоследствии получили название Генеральных штатов. Они же, в свою очередь, после 1789 г. положили начало нашим парламентским институтам.

– Бесспорно, что милосердие, к которому нас призывали вы, брат мой, и о котором просила меня в своем послании моя дочь, королева Англии, милосердие это отнюдь не принесло добрых плодов, – сказал Филипп, поворачиваясь к Валуа. – Продолжайте, Ногаре.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.